Жизнь и смерть Арнаута Каталана

Лангедокский цикл - 1

Елена Владимировна Хаецкая

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Перед нами жизнеописание Арнаута Каталана. Он предстает перед нами на первых страницах мальчишкой-фигляром в возросте около пятнадцати лет. А на последних страницах это уже пес господень в возрасте за сорок. Перепетии его судьбы и жизнь страны Ок в начале тринадцатого века ждут вас на страницах этой книги.

- Елена Хаецкая
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - ***
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - ПРИМЕЧАНИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Елена Хаецкая
Жизнь и смерть Арнаута Каталана

Глава первая
АРНАУТ КАТАЛАН РЕВЕТ ОСЛОМ

Скрипя и на ходу мало не разваливаясь, не проехала даже – проковыляла телега, влекомая клячей себе под стать: ребра наружу, глаза покорные. Определилась у постоялого двора. Тотчас же возница скрылся в доме – договариваться с хозяином. Прочие же путники скромненько оставались в телеге и показываться не спешили. Возниаца вскорости возвратился. Передал клячонку хозяйскому сыну, что был при отце за всякого рода подсобного работника, а сам забрался в телегу под навес и присоединился к остальным.

Так и сидели под выбеленной холстиной сиротинушками, пыльные и скучные. Откопали из-под тряпья хлеба полкраюхи да сыра крошечку. Жевали тихонечко, в пустоту глаза вперив.

Однако ж беседуя с хозяином постоялого двора насчет клячи, не забыл возница примолвить два чрезвычайно нужных словечка, ввернув их умело и весьма кстати. Посеянное пало на добрую почву и взошло на диво быстро.

Поглядел-поглядел хозяин через окно на телегу. Подумал-подумал. А после плюнул и позвал гостей угощаться, пусть даже себе и в убыток.

Те долго ждать не заставили. Немедля ожили, зашевелились, резво с телеги спрыгнули и гостеприимного хозяина почтили. Да так, заметим, почтили, что тот аж крякнул. Казалось, пора бы дураку седому и знать: на дармовщинку всяк брюхо набивает, покуда в поясе не затрещит, а уж бродячие фигляры – тем паче. Народишко, прямо скажем, малопочтенный и к неблагородным поступкам весьма склонный.

Ну, о ком сперва рассказать: о хозяине или о фиглярах?

Начнем, пожалуй, с хозяина. Примечательного в нем немного. Звали его Ригель, имел он сына и дочь, постоялый двор держал в Шателайоне, в благословенной стране Ок; сеньором же над собою знал веселого, отважного и неудачливого Саварика де Маллеона по прозванию Саварик Нечестивец.

Ригеля распирало от любопытства. Он решился даже пожертвовать некоторой толикой своего состояния, только бы выведать всю подноготную этих людей, прибывших в Шателайон на телеге.

Те же, не забывая насыщаться, поведали о себе охотно.

Было их, кстати, четверо и все весьма горазды пожрать, а на выпивку так и вовсе ненасытны. Двое мужчин наворачивали

каждый за троих; женщина, что с ними была, ничем не уступала своим спутникам, а четвертый, юноша, почти мальчик, превосходил троих прочих вдвое.

Звали фигляров так: старшего – Агульон-Колючка; того, что лошадью правил, – Тюка (что означает Башка или Тыква), а женщину звали Ильдегонда. Ильдегонда приходилась Агульону сестрой, а Тюка приходился ей мужем.

Мальчик же и вовсе никому из троих родней не являлся. Подобрали его в Ломбардии, по ту сторону гор, и вышло это вот каким образом.

Некогда жил этот юноша с отцом, матерью и прочей родней у себя в деревне, пока не случилось там повального недуга, от которого чернели и гнили руки-ноги и внутренности. Многие от того умирали, а кто не умирал, тот и не поправлялся. Дабы избежать подобной участи, оставил юноша свой дом и бежал куда подальше.

И вот случилось ему забрести в Ломбардию, где свалила его жестокая лихоманка. По счастью, это была не та хворь, от которой гниет все тело, а иная – от которой в жар кидает и трясет, будто сноп при обмолоте.

Едва оправившись, начал он побираться, ибо иных источников к существованию для себя не видел. И жалобил он прохожих столь искусно и убедительно, что прочие нищие, завидуя, набросились на него и ощутимо побили.

Все то время, пока нищие колотили его по спине, по бокам и голове, проклинал он лиходеев с немалой выдумкой и остроумием. Тут-то и приметили парня фигляры, подобрали, залечили его раны и взяли себе в товарищи.

Рассказав все это и срыгнув, сколько срыгнулось, пришлецы повеселели и обещали хозяину отплатить добром за гостеприимство.

Народ в Шателайоне живет сытый. Не зажиревший, конечно, но уж всяко и не отощавший – при таком-то сеньоре, как Саварик де Маллеон. Конечно, не всегда судьба к нему благосклонна, но когда эн Саварик дома и в добром здравии, над Шателайоном будто солнышко восходит.

Долго зазывать на представление не пришлось. Едва поблекло сверкание весеннего дня, знаменуя окончание суетных забот, начали фигляры потеху на площади перед постоялым двором. Разоделись, раскрасили лица и скрылись до поры в телеге. Один только парнишка на виду остался.

Рот у юнца и без того до ушей, а тут еще краской подмазан, чтобы больше казаться. Румянец на всю щеку намалеван, скулы острые, подбородок – хоть дырки протыкай, нос точно клюв у

аиста. Стоит парень в пестрых лоскутьях, ноги расставив и подбоченясь, разоряется:

– Здравствуйте, почтенные и полупочтенные!

Солнцем пропеченные,
Ветрами поистолченные,
Никем не любимые,
Одним только Господом Богом хранимые!
Эй, за кого вы меня принимаете?
Кем таким меня считаете?
Может, графом Тулузским?
Может, королем Французским?
А может, здешним сеньором Сабариком де Маллеоном?

Ригель тем временем тоже не теряется: выкатывает бочонок молодого вина, кладет под руку кровяные колбасы в оболочке из свиных кишок, достает хлеб утренней и вчерашней выпечки, готовится все это хорошо продать.

Народ на площади уже собирается. Здешним крестьянам на представление поглядеть – себе веселье, а трактирщику не разоренье. И хлеб, и колбаса, и выпивка стали бойко расходиться.

А голос у паренька пронзительный, до самых костей пробирает. Потешный юнец, долговязый, тощий. Сразу видать, сызмальства плохо его кормили. Одно только щедрое солнышко чернявую макушку и припекало, чтобы тянулся выше, а в тело за недостатком питания не вошел.

– А я не граф Тулузский,
Я не король Французский,
И не здешний я сеньор Саварик де Маллеон.
Я странник-забавник,
Одна нога здеся,
другая в поднебесье,
я – ходок по свету,
пою за монету,
а звать меня Горжа,
Рожа Пригожа,
Глотка Лужёна,
По научной же латыни Глутус.
Я у нас самый умный,
Творю на потеху разные глумы,
Глотку деру,
Вам, дуракам, представленье наше объясняю и растолковываю.

Началось! В толпе попритихли, иные даже жевать забыли.

Вот в телеге закопошился кто-то и вдруг выступил, высоко задирая при каждом шаге обмотанные разноцветным тряпьем ноги. Агульон сделал себе лицо свирепое, брови подмалевал углем, чтоб казались густыми и нахмуренными, под нос налепил ужасающие черные усы. Сморщился, резко повернулся туда-сюда, как заводной, оглядел собравшихся гневно.

Мужики так и ахнули, а женщины прыснули и глупо захихикали.

Ничуть не смущаясь, юноша взмахом руки показал на Агульона:

– Извольте видеть, вот это – знатный рыцарь Боссен! У него вот такенный хрен!

Знатный рыцарь охотно продемонстрировал собравшимся вот такенный хрен, сшитый из фиолетового атласа (где только раздобыл, подлец, ткань-то дорогая!) Размахивая им налево и направо, Боссен не забывал корчить престрашные рожи. Встретившись глазами с хорошенькой дочкой Ригеля, фигляр вдруг оскалился в ухмылке, согнал морщины со лба, намекающе задвигал густыми бровями и ласково огладил свой атласный хрен.

Девушка уткнулась лицом в фартук, будто смутившись до смерти. Но Ригелю-то, ее отцу, видно: спрятаться-то она спряталась, да поверх края фартука лукавым глазом подсматривает.

– А вот, – кричит Горжа, – и брат Боссена, доблестный Лантса! У него вот такенные яйца!

Хррясь! Ригель свою дочку – по шее. И в дом ее, в дом, от срама.

У Лантсы бородища накладная, рыжая, торчит веником, а на плащ из дерюги нашит большой крест. И яйца у него и вправду ого-го, тоже атласные, только зеленоватые. С людоедской улыбкой глядит Лантса сперва налево, потом направо.

Зрители дружно ревут от восторга.

Третий выход! Жена благородного Боссена – прекрасная Ильдегонда!

Лицо у Ильдегонды выбелено мукой, волосы накручены на две палки и перевязаны бантами, сверху – белое покрывало.

– Я куртуазна и умна! И мужу своему завсегда я верна!

Боссен подхватывает грубым басом:

– А я зато некуртуазен, нравом свиреп и лицом безобразен!

– А я, – влезает Лантса, – у родителей младший сын, я храбро

воюю в стране сарацин!

Желающих посмотреть представление все прибывает. Задние вытягивают шеи, поднимаются на цыпочки, становятся на камни, забираются на деревья, чтобы лучше видеть. А слышно и без того хорошо: все четыре фигляра почти кричат – даже Ильдегонда, несмотря на всю свою куртуазность.

Дама пытается обучать своего супруга любезному обхождению и манерам, в чем не слишком преуспевает.

Повернувшись всем телом, грубый Боссен нацеливается на супругу колючими черными усами.

– Оставьте эти глупости, жена! – вопит он, топая ногами. – Я не желаю слушать! Соколиная охота – вот мое вежество! Кабанья травля – вот моя куртуазность! Лошади – вот мои дамы сердца! Борзые собаки – вот мои пажи! А-а-а!!! – ревет он устрашающе, дабы самые недогадливые поняли: усилия Ильдегонды пропадают втуне.

Но Ильдегонда и не думает сдаваться.

– Чего ради вы должны меня слушать, муж? – переспрашивает она и резко, будто ее дернули за веревку, сгибается в поклоне. – А потому, что женщины во всем превосходят мужчин!

Зрители отзываются возмущенными криками.

– Учить Боссена вежеству, – замечает Горжа (ладони за поясом, ухмылка дерзкая), – все равно что растолковывать благородные науки мужланам вроде вас, полупочтенные!

Разъяренный Боссен несколько раз топает ногой и мрачно хмурится.

Махнув подолом, прекрасная Ильдегонда разворачивается лицом к толпе и широко разводит руками.

– Извольте, я докажу свою правоту! – выкрикивает она, глядя поверх голов на крестьянского паренька и худенькую девушку в подоткнутой юбке, оседлавших толстую ветку придорожной ивы. – Мужчина сотворен из глины и грязной земли! Женщина же – из благороднейшего человеческого ребра! Вот почему мы, женщины, превосходим мужчин!

Девушка визгливо смеется, тряся тощими плечами. Паренек украдкой целует ее в шею.

Ильдегонда протягивает обе руки Боссену, по-прежнему не сводя глаз с парочки.

– Взгляните, муж, как нежны мои руки!

Руки у фиглярки крупные, загрубевшие от ветра, от поводьев, с которыми ей то и дело приходится управляться, исколотые иглой. Но перед представлением она обваляла их в муке.

Показав белоснежные кисти Боссену, она поднимает их над головой, чтобы и зрители могли разглядеть, как следует.

– А каковы руки у вашего пола, муж? Не подобны ли они граблям и лопатам?

Боссен трясет кулачищами. На тыльную сторону ладоней он густо налепил черной щетины.

– Ну, так чего ради мужчины властвуют над нами? – продолжает Ильдегонда, наступая на Боссена, как деревенская склочница, подбоченясь и поводя плечами. – Вы бородаты, как козлы! Вы черны, как вороны! Кожа у вас грубее бычьей! Вы волосаты, как медведи!

Боссен молча размахнулся, желая поучить жену, но тут между супругами, ужом извернувшись, влез Горжа. Пока те обменивались яростными гримасами, Горжа бойко растолковал зрителям:

– Вот так защищала прекрасная дама Ильдегонда науку куртуазности. Но муж не желал и слушать! И оттого случилась вдруг большая беда для обоих!

Сказав это, он неожиданно повернулся к даме спиной и низко склонился перед Боссеном. Дама Ильдегонда, очень высоко вздернув брови, уставилась на тощий зад Горжи.

Горжа прокричал:

– Мой господин, благородный рыцарь Боссен!

Покинув сарацинский плен

И избежав немало бед,

Вернулся ваш преславный брат!

С этими словами он выпрямился и отскочил в сторону, освобождая дорогу доблестному Лантсе – с накладной рыжей бородой и знаменитыми зелеными яйцами. Испуская громкие стоны, Лантса выступил вперед и несколько раз взмахнул руками, широким жестом оглаживая крест на своей одежде.

– Я претерпел немало бед за те плачевные семь лет, что бился я у сарацин, когда с друзьями, а когда – совсем один! – прокричал Лантса жалобным голосом. – И вот вернулся я назад, но мне не рад мой добрый брат!

Боссен прогудел что-то нечленораздельное и скорчил свирепую рожу. Лантса, отвернувшись, закрыл лицо руками. На тыльной стороне ладоней у него, как и у Боссена, была приклеена шерсть, только не черная, а рыжая.

– Пускай мужья и злы и столь упрямы, быть грубой недостойно дамы! – вскричала куртуазная Ильдегонда.

Замирая после каждого шага, она решительно приблизилась к Лантсе и после резкого размаха рукавами демонстративно обняла его. А затем отступила и той же подпрыгивающей походкой удалилась.

– Итак, я вернулся! – выкрикнул ободренный Лантса. –

Воистину, наконец-то я дома! И теперь, впервые за долгие годы, без страха быть убитым стану я есть и пить и справлять естественную нужду, чего я столь долго был лишен!

Лантса исполнил танец, не забывая трясти тем, чем был славен и о чем Горжа оповестил публику еще в прологе, после чего убежал за телегу.

Боссен спросил жену:

– Зачем вы его обняли?

– Как же мне было не обнять его, коли он – ваш брат и вернулся из Святой Земли?

Оба супруга стояли плечом к плечу, лицом к публике. Крестьяне, увлеченные представлением, подходили все ближе к фиглярам. Задние напирали, передние лезли вперед. Перепалка между супругами делалась все громче.

– Для какой же причины, жена, вам его обнимать?

– Для такой, чтобы выказать вам уважение.

– К чему столь долгий обходной путь? Могли бы уважить, обняв просто меня.

Один из зрителей крикнул:

– А ей с тобой неинтересно!

– Почему же? – возразила Ильдегонда и подергала Боссена за вот такенный хрен. Хрен остался у нее в руках. Помахав им в воздухе, дама добавила: – Очень даже интересно!

Боссен отобрал у нее принадлежность и пристегнул ее обратно.

– Ваш брат Лантса храбро бился с сарацинами! – Ильдегонда вернулась к прежней теме.

– Мало ли кто с кем бился. Я тоже вчера с эн Савариком храбро бился, чуть головы не лишился, так он меня отделал.

– Ах, господин мой Боссен, сколь мало в вас куртуазности… – И неожиданно изменив тон, Ильдегонда заорала на зрителей: – Эй, ты! Ты мне уж совсем на платье налез! Еще на голову сядьте! Расступитесь, расступитесь!

Расталкивая наседающих зрителей, Ильдегонда и Горжа быстро двинулись вперед, освобождая пространство для игры.

– Давай, давай!.. – ворчал Горжа, отпихивая крестьян. Те нехотя подавались назад.

– Некуртуазность ваша, муж мой, весьма печалит меня! – как ни в чем не бывало продолжала Ильдегонда, отходя на прежнее место.

– А, пошла ты в задницу со своей куртуазностью! – заревел разъяренный Боссен.

Ильдегонда запрокинула голову и патетически вскричала:

– Скотам людьми не стать,

У них иная стать,

Зато скотину видеть в муже

Намного хуже!

– Ой, ой! – завопил Горжа и, схватив пустой горшок, оставленный Ригелем на окне для просушки, нахлобучил себе на голову. – Ой, сейчас подерутся! Ой, ой! Сейчас камни полетят! Берегите хрупкие предметы!

Боссен снова замахал кулаками.

– Жена! Вы должны были выбранить его за то, что он посмел коснуться вас.

– Ни за что!

– А я говорю: порядочная женщина должна была дать ему по морде!

– Фи, господин мой! Дать крестоносцу по морде!

Боссен внезапно замолчал. Скрестил на груди волосатые руки, показывая, что не желает продолжать спор. А затем медленным движением вытащил из-за пазухи мешочек. Потряс им, показывая сперва тем, кто глазел на представление справа, а после тем, кто находился слева.

Горжа запустил в мешочек пальцы, взял оттуда щепоть воздуха, вложил в рот и громко зачавкал. Для наглядности еще рыгнул пару раз. И замер, как громом пораженный.

Зрители затаили дыхание, предчувствуя, что вот-вот станут свидетелями чего-то поистине ужасного.

И точно! Глаза у Горжи выпучились, сделавшись почти совершенно белыми. Казалось, они сейчас вывалятся из орбит и покатятся по пыли. Изо рта у него пошла настоящая пена. Поскольку губы у Горжи были заблаговременно намазаны, то пена окрасилась розовым.

Захрипев, Горжа повалился набок, как сноп, забился в судорогах, задергался и наконец затих.

– Да! В этом мешочке я храню страшный яд! – закричал Боссен, когда Горжа перестал корчиться и пускать пену. – Я не намерен больше спорить ни с женой, ни с братом моим, ибо они оба злоумышляют против меня! Жена моя кому хошь голову задурит! Я ей не верю более! Нет, не желаю я дознаваться, виновны они или нет! Я просто отравлю обоих, вот что я сделаю!

– По прошествии совсем недолгого времени, – поведал простертый на земле мертвый Горжа, – благородный Боссен устроил большое пиршество в честь возвращения своего брата. И на этом пиру он действительно подсыпал яду обоим, хотя те нисколько не были перед ним виноваты.

– Эй, ты же мертв! – крикнули Горже из толпы.

– Я говорю из могильной тьмы! – ответствовал Горжа с

завыванием, которое сделало бы честь осиротевшему шакалу.

Затем он встал, показывая, что представление окончено. Все четверо поклонились публике. Горжа снял с головы горшок. Публика загомонила, засвистела.

– Поглазели, посмеялись, подивились, насладились – пора вам деньгу гнать! – завопил Горжа, потрясая горшком. – Эй, платите за наше представление, за ваше удивление!

Но крестьянам не хотелось отпускать фигляров так скоро. Самый бойкий из них, бондарь по прозванию Аурилья, незамедлительно вступил с Горжей в перебранку.

– Ну, и за что же это мы должны тебе платить? Смех в котел не положишь, из побасенки каши не сваришь, с песенок сыт не будешь.

– Зато здоровья наберешься, ведь мы лекари, – охотно ответил юноша.

– Какие еще лекари? Вы же фигляры!

– А такие! Хорошая побасенка удваивает жизнь! Это ясно описано в писаниях высоконаучного Аверроэса, которого изучают во всех университетах и в самом городе Монпелье! Наша же история и смешна и поучительна, и жизнь ваша станет втрое длиннее против того, что вы заслуживаете.

– Врешь ты что-то, – сказал Аурилья. – Правду говорят: с басками торговаться хуже чем с жидами. Ой, ой! Пропали наши денежки!

Горжа тряхнул черными волосами, обтер ладонью лицо, размазывая краску по подбородку.

– Есть среди нас гасконцы, есть каталонцы, есть тут и баски, и все мы не ведали в жизни ласки, зато живем без ничьей указки. Платите нам деньги за представление!

Он начал обходить зрителей, толкая горшком в живот то одного, то другого. Крестьяне смеялись, когда он гримасничал, вымогая монетку достоинством побольше. Грошики так и сыпались. Скоро уже в горшке собралась приятная компания: шесть медных мелов, восемь рэмонденов, пять тулузских солидов, отданных, как оговаривалось особо, за девять зрителей, три мельгориена, пятнадцать оболов, а также четыре монеты неопределенной ценности и не имеющие названия.

Паренек так увлекся созерцанием этой отрадной картины, что и глаз от нее не отрывал, все глядел-любовался, как грошик летит навстречу собратьям, увеличивая их число.

И вот поток прервался. Досадуя, Горжа вскинул голову – поглядеть, кому это платить неохота.

А человек, что перед ним стоял, не богато, не бедно одетый, оказался лет сорока с небольшим, волосы имел соломенного

цвета, нос и щеки усыпанные веснушками, глаза светлые, ресницы и брови белые, на загорелом лице очень заметные. И сразу увиделось в нем юноше нечто, от чего он насторожился и весь подобрался.

– Что стоишь столбом? Плати! – сказал Горжа нарочито дерзким тоном.

Человек показал на ладони медный обол.

– Назовись, фигляр, так, пожалуй, и заплачу.

Горжа поставил горшок с монетами себе на темечко, убрал руки, шагнул влево, шагнул вправо, тряхнул головой и ловко подхватил падающий горшок. Ни одной монеты не уронил.

– Я потешник,

Я насмешник,

Я мим,

Брожу то один, то не один,

Я гистрион,

На все руки силен,

Я сальтатор – сальто кручу,

Я йокулятор – шутки шучу,

Я глумотворец, срамословец, песнесказитель, а при случае еще и лекарь.

Разговоры на площади постепенно смолкали. Стоявшие поблизости от Горжи тихой сапой расступались, так что вскоре вокруг юноши и его собеседника образовалась тревожащая пустота.

– Лекарь? Какие же болезни ты лечишь, лекарь?

– Я собакам кровь пускаю, ставлю коровам банки, козам – припарки, коням – пиявки, курам – микстуру, кошкам – тинктуру, а ослам – яйца отрезаю, если меня очень попросить. Хочешь, я и тебя вылечу?

Человек засмеялся.

– Да я и не болен вовсе.

– Позволь мне тебя полечить, враз чем-нибудь заболеешь. Чего изволишь? У меня в котомке всякого на выбор: и трясовица, и огневица, и прочая иная лихоманка. – Юноша снова выкатил глаза, пустив изо рта пену. – Нет, не хочу быть лекарем! – вскричал он миг спустя и снова сделал нормальное лицо. – Лучше купи у меня что-нибудь. Я теперь торговец.

– Рожу утри, торговец.

– Благодарю, господин. – Горжа утерся.

– Чем торгуешь, торговец?

Глядя на обол на ладони незнакомца, паренек пояснил:

– Зимой дождем, летом пылью, а осенью всякой разной гнилью.

– Ох, верно наш бондарь Аурилья говорит: с баском не торгуйся, проторгуешься.

– А я не баск, я каталонец. Да только какая разница, коли мы с тобой близкая родня, господин мой.

Желтоволосый слегка сдвинул светлые брови.

– Это с какой еще стороны, голодранец?

– Со стороны Адама и Евы. А наследство наше поделили не поровну.

– Эдак я по миру пойду, если всем таким родичам выделю часть моего наследства! За кого ты принимаешь меня, полупочтенный?

Горжа поклонился, взмахнув немытыми черными патлами.

– Вижу я, ты не граф Тулузский и не король Французский! – молвил он, бодрясь (господин пока что не гневался).

– Я Саварик де Маллеон, – заключил, рассеивая последние сомнения, желтоволосый.

Паренек выпрямился, прижал к груди горшок с монетами и не выдержал – оглянулся на своих товарищей. Те молча выжидали, чем окончится разговор.

Саварик подбросил грошик в воздух.

– Что, фигляр, никак струсил?

Словив монетку на лету, Горжа учтиво ответил:

– Струсить не струсил, господин мой, но осторожность поимел.

И вдруг чрезвычайно похоже заревел ослом.

Глава вторая
АРНАУТ КАТАЛАН ВЕДЕТ КУРТУАЗНУЮ БЕСЕДУ

Добрый сеньор де Маллеон, прозванный также Саварик Нечестивец, фигляров разного рода ценил весьма высоко, привечал их у себя во владениях и щедро вознаграждал. Если же он видел человека, не обделенного песенным, либо поэтическим даром, то стремился оказать тому как можно больше благодеяний. Это было у него в обычае.

Поэтому эн Саварик и пригласил товарищей Горжи к себе в гости – на праздник.

Разумеется, такое предложение было принято немедленно и с радостью.

Как раз в это время эн Саварик спасся от одной беды, а в другую попасть еще не успел. По этой ли, по какой иной причине, только затеял он праздник и пригласил к себе в Шателайон множество рыцарей и дам. Почти все они с радостью откликнулись на приглашение эн Саварика и прислали скорых гонцов сообщить о своем непременном прибытии.

Филгярам же чудилось, будто попали они вдруг в подобие земного рая. После тряских пыльных дорог, после ночлега в телеге, либо в дешевом трактире на соломе с клопами, дивной мнилась им постель, накрытая мягкими шкурами, большая медная чаша для умывания – всегда с свежей водой, обильная трапеза, щедрая на мясо, шелковистые охотничьи псы, всюду ступающие по каменному полу галерей с легким стуком когтей. Да и сами галереи с их чередованием солнечных пятен и черных теней от колонн, и комнаты – верхние с бойницами, нижние – с широкими витражными окнами, и большой сад с колодцем и скамьями, – все это не слишком разнилось с тем понятием о рае, который было усвоено Каталаном еще с детских лет.

Телегу и фиглярскую клячонку эн Саварик сразу препоручил прислуге. Скотину завели в стойло, телегу оттащили на задний двор, и больше у Тюки с Агульоном голова о них не болела.

Из заезжих потешников эн Саварику больше всех глянулся парнишка каталонец. С ним и захотел беседовать, когда явился на второй день их гостевания в ту комнату, что отвели всем четверым.

Каталонец Горжа, едва завидев Саварика, сразу вскочил на ноги и отвесил низкий поклон. Саварик позвал его в сад. Уселся

на скамью. Горжа перед ним на траву плюхнулся, ноги скрестив, лицо поднял – внимать приготовился.

Для начала спросил его эн Саварик об имени.

– Как звать тебя, каталонец? Что, так и кликать перед всеми гостями – Горжей?

Паренек подумал немного.

– А разве плохо – Горжа? Вообще меня Арнаутом крестили, а по ту сторону гор говорят – Арно. Еще можно сказать – Арнольд, только мне это совсем не нравится. Лучше уж зовите меня просто Каталаном, коли "Горжа" неблагозвучно.

После того Саварик рассказал, какой он замыслил праздник, для каких гостей хочет дать представление, в чем смысл и какова изюминка пьесы и многое другое, что было необходимо обсудить, а под конец обещал заплатить всей труппе очень хорошие деньги.

Все это Каталан выслушал чрезвычайно внимательно, а про себя решил во что бы то ни стало угодить такому богатому и щедрому сеньору. А Саварик тоже был Каталаном доволен. Паренек пока что не обманывал ожиданий. Стихи ловил на лету; если что и забывал, не терялся, присочинял сам и, что главное, получалось не хуже.

Труднее всего оказалось, как и ожидал Каталан, склонить актерку Ильдегонду к тому озорству, что затеял эн Саварик. И так и эдак ее уламывал, весь ужом извертелся, дождем пролился, мелким бисером рассыпался – Ильдегонда ни в какую. И через Тюку влиять на нее пытался, и через Агульона, и втроем на нее наскакивали – нет, упорствует Ильдегонда! Наконец, отчаявшись, решился Каталан эн Саварика потревожить.

Тот был занят с гостями. По приглашению Саварика де Маллеона прибыло в Шателайон немалое число знатных владетелей и куртуазных дам.

Эн Саварик вел учтивый любовный поединок с домной Гильемой де Бенож, за которой, себе на беду, куртуазно ухаживал, не получая взаимности. Поединок этот состоял в преискусном чередовании колкостей и любезностей. Эн Саварик уже ощутимо одерживал верх, а домна Гильема готовилась претерпеть поражение, и поэтому дама весьма обрадовалась вторжению жонглера, в то время как эн Саварик был немало раздосадован.

Поклонившись как можно ниже, Каталан молвил:

– Тут у нас… господин мой… неурядица одна, право слово… И не уладить, хоть ты совсем тресни! – От растерянности он изъяснялся не совсем бойко, не то, что на площади.

Широкоскулое лицо Саварика залилось краской.

– Да что же это такое! Или ты, мужлан, совсем забылся, что

врываешься ко мне так бесцеремонно?

– Я… ну, у нас тут… Ох! – вскричал Каталан и без долгих разговоров повалился Саварику в ноги, по опыту зная, что это наилучший способ беседовать с разгневанными сеньорами.

А дама Гильема едко заметила:

– Как же мне поверить в ваше добросердечие, эн Саварик, если у меня на глазах вы готовы за ничтожный проступок изничтожить какого-то бедного фигляра?

Тут Саварик сделался совсем красным и на миг даже всерьез захотел повесить злополучного Каталана. Но потом взял себя в руки и сказал спокойным тоном:

– Встань, пожалуйста, Каталан, и растолкуй мне внятно, какой помощи ты у меня просишь.

Услыхав это, Каталан резво поднялся и объяснил с довольно развязным видом:

– Актерка наша, Ильдегонда, упрямая кобыла, спасу нет. Ни в какую не желает играть свою роль так, как ваша милость задумала.

– Уж наверняка эн Саварик задумал что-то непристойное, – проговорила домна Гильема. – Иначе почему бы этой доброй девушке не согласиться играть свою роль? Уж конечно, ей не впервой выступать на подмостках в пьесе, ведь она избрала фиглярство своим ремеслом.

От таких изысканных речей голова у Каталана совсем пошла кругом. Он только молча поклонился домне Гильеме и снова обратился к эн Саварику.

– Умоляю вас, господин мой, помогите нам как-нибудь уломать ее. Она никого не хочет слушать, так может хоть вас послушает. Посулите ей что, пригрозите или еще как…

Саварик, досадуя, обещал, что с актеркой потолкует, и Каталан наконец оставил Саварика с домной Гильемой наедине. Но пока шло препирательство с дерзецом Каталаном, все завоеванные эн Савариком в куртуазном поединке позиции были утрачены, и домна Гильема легко повергла теперь эн Саварика к своим ногам. Впрочем, трактаты о любви в один голос утверждают, будто поражение в подобном споре куда слаще победы, так что в конце концов эн Саварик в накладе не остался.

С актеркой же он действительно потолковал тем же вечером, призвав ее к себе в уединенные покои. О чем шла беседа, никто потом не дознался, но мнение свое Ильдегонда переменила, и с того времени репетиции шли уже не спотыкаясь.

И вот настал назначенный день. Стоило поглядеть на великолепно убранный замок и сад, на превосходные наряды знатных гостей, на красивые лица дам, на обильное угощение, на

великое множество музыкантов.

Все деревья в саду украшены лентами. Иные свисают, наподобие гирлянд, иные завязаны бантами, а иные – таким образом, чтобы напоминать розы. Лоскутные цветы перевиты травой и вплетены в венки из листьев. Повсюду на траве и скамьях разложены мягкие подушки.

Любимые охотничьи псы Саварика бродят между гостей – сытые, ласковые – кладут длинные морды на ноги людям, бороздят их лица печальными темными глазами.

Гости вели малозначительную беседу, стараясь, чтобы она не стала слишком увлекательной, не то досадно будет прерывать ее, когда объявят о начале представления.

И вот выходит, почти совершенно не робея, к великому скоплению знатнейших сеньоров Юга разнаряженный в пух и прах Арнаут Каталан. Растягивает в ухмылке рот, и без того не маленький, и, скособочившись в каком-то уж совершенно немыслимом поклоне, кричит визгливым голосом:

– Здравствуйте, многопочтенные, сильнопочтенные и почти не почтенные, но нашим господином Савариком почтённые!

Получив от Саварика заранее оговоренного пинка в услужливо откляченный специально для этой цели тощий зад, Каталан опрокидывается на спину, точно большой, яркий жук и орет:

– Ой, ой! Пропал я совсем! И теперь представление наше никак не состоится, ведь я в нем главный великомученик!

– А хорошо ли представление, чтобы мы стали тебя слушать? – спрашивает Саварик.

– Вам ли не знать, господин мой, коли вы сами эту пьесу и сочинили… – стонет Каталан.

– Тогда, может быть, и неплохое, – говорит Саварик. – А о чем пьеса? Запамятовал! Я много разного насочинял.

– О человеке.

– Стоило ли тратить время на предмет столь плачевный? Видать, делать мне было нечего… Да не валяйся ты по траве, как молодой кобель на тухлой рыбе.

– Благодарю, господин мой. – Каталан встает и не без изящества раскланивается перед публикой. – Мы фигляры перехожие и потому со всяким сбродом схожие, хотя на самом деле чрезвычайно искусные, а представленье наше о том, как была восславлена истина и посрамлены заблуждения. Называется же комедия сия "Поповская ересь".

Тут все гости, которым хорошо были известны как мнения, так и обычай эн Саварика Нечестивца, врага попов и Монфора, оживились, ибо сразу поняли: эн Саварик приготовил какое-то

новое озорство.

– Пролог! – провозгласил Каталан и замер в полупоклоне.

Вперед выступили Тюка и Агульон, оба одетые монахами. Чтобы казаться толще, они напихали под одежду соломы. Тюка был, как всегда, с рыжей бородой – он считал, что это вдохновляет его на игру. Агульон прилепил черные усы, а под глазом для смеху намалевал углем синяк.

Поворачиваясь, "монахи" столкнулись лбами, долго бранились между собой, после чего открыли пролог.

– Диалог философический! О человеке! – выкрикнул Каталан и, изменив положение, снова застыл.

– Что есть человек? – с важным видом вопросил Тюка.

Агульон скорчил возможно более мрачную рожу и отвечал замогильно:

– Слуга смерти, путник прохожий.

– Чему уподобим его?

– Снегу, что тает при первом тепле.

– Как жив он?

– Свечой на ветру, гаснущей быстро.

– Где человек?

– Во всякого рода борении.

– Товарищи кто ему?

– Семеро их: голод, холод, жара, жажда, усталость, болезни и смерть.

Не позволив публике надолго погрузиться в созерцательное настроение, Каталан завопил что есть мочи:

– Пролог окончен! Здесь начинается действие удивительной, престрашной и трогательной пьесы, исторгающей слезы, повергающей в ужас и обращающей души на стезю истинной веры!

Невдалеке от здешнего прихода
Жила девица Ильдегонда,
Собой была она красива,
Чиста душой и не спесива.

И предалась она вере чистой и истинной и, приняв посвящение, сделалась "совершенною" катаркой, а ересь поповскую отвергла навсегда! А вот и она сама!

Актерка Ильдегонда постаралась – разоделась на славу. Впрочем, надо сказать, что и эн Саварик не поскупился, всего дал, и атласа, и тонкого полотна, и нитку самоцветных бус. Только руки, красные, распухшие, резко выделялись на фоне белоснежных рукавов. Но осанка у нее была горделивая, как у всех актерок, а лицо, что ни говори, довольно миловидное. Да и мастерства ей было не занимать.

– Я Ильдегонда,

Пью только воду,

Съедаю в день лишь толику хлеба,

Зане хочу попасть на небо!

– тихим голосом проговорила она.

– Вот такова моя госпожа Ильдегонда, – сказал Каталан, напоказ любуясь ею. – И ради нее я тоже, ничтожный слуга, принял катарское учение и вкушаю освященный хлеб, ибо то – хлеб истинного знания.

Зрители, среди которых почти всем время от времени выпадала радость делить братскую трапезу с "совершенными", отозвались одобрительными восклицаниями. Тем неприятнее было для них новое появление двух жирных монахов.

– Слыхал я, дружище, будто в этих краях проживает некая девица, вполне предавшаяся истинной вере, а наше католическое лжеучение отвергшая, – завел разговор Агульон, жадно облизываясь.

– И что, она красива? – осведомился Тюка, потирая руки.

– Весьма!

– И богата?

– Разумеется!

Оба "монаха" пришли в страшное возбуждение и забегали взад-вперед, бестолково размахивая руками. Затем разом остановились и сделали умильные рожи – что было особенно смешно, если принять во внимание разбойничьи усы и синяки под глазами.

– Наш святой долг, – проговорили они слаженным хором, – вернуть эту заблудшую овечку со всеми ее богатствами в наше стадо.

Агульон погладил себя по животу и подмигнул Тюке, а Тюка похлопал себя по бокам и подмигнул Агульону. Затем оба одновременно повернулись и побежали на месте, высоко вскидывая ноги.

Вперед снова выступил Каталан.

– Долго ли шли они, лелея страшные замыслы, коротко ли, да только пришли и нашли добродетельную Ильдегонду и слугу ее бедного – то есть меня, принявшего катарскую веру ради прекрасной госпожи. Сперва схватили они слугу. – Тут Каталан повернулся к "монахам" и с покорным видом протянул им руки. – Вяжите меня, супостаты, пытайте, как хотите, страшными пытками, и знайте: бренное мое тело – наследие диаволово, и я с радостью освобождаюсь от него!

Оба "монаха" громко пыхтя с готовностью связали Каталана по рукам и ногам, повалили на землю и принялись колотить. При

каждом ударе они вопили омерзительными голосами:

– Веруешь в Бога-Отца? Веруешь в Бога-Отца?

Арнаут Каталан извивался под их ударами, бился и катался, не забывая испускать душераздирающие стоны. Он так надрывался, что одна из собак вскочила и, размахивая хвостом, принялась оглушительно лаять.

Наконец Каталан затих.

"Монахи" отерли пот. Агульон наклонился, потыкал, кряхтя, в Каталана растопыренными пальцами.

– Вроде как он помер.

– Вот негодяй! А какой, однако же, чистый тут воздух, заметил, брат?

– Чистый, брат. Это потому, что еретик умер.

– Странно также, что мухи на труп не летят.

– Это потому, что здесь нет мух, брат.

– Как это – нет мух?

– А вот так. Вообще нет.

– Как же такое вышло, чтобы вовсе не было мух?

– А я их от Церкви отлучил, вот они и передохли.

– Странно. Вот я тоже графа Фуа от Церкви отлучил, а он живехонек.

Тут граф Фуа, которого действительно недавно отлучили от Церкви, громко захохотал и погрозил Саварику кулаком. Саварик возвел глаза к небу и пожал плечами – скромник.

– Ах, если бы и катары вот так после отлучения дохли! – завел снова Агульон.

– Увы, брат! – ответствовал Тюка с печальным видом. – Катаров подобной малостью не возьмешь!

Бурное одобрение зрителей подбодрило "монахов". Они сделали паузу, чтобы поклониться в ответ на аплодисменты, после чего с самыми зверскими рожами подступились к девице Ильдегонде.

Однако Ильдегонда, как и замышлялось автором пьесы, ни в какую не поддавалась на увещания. Посулы и даже угрозы оставили ее совершенно равнодушной.

Представление близилось к сногсшибательной развязке, о чем и уведомил публику нарочно для такого случая воскресший Каталан.

– Превеликой жалости достойно, что честь не в чести и ложь вознесена на пьедестал, – заявил Каталан, садясь на земле, а затем и вовсе вставая. – Увы, плачевная участь ожидала многих достойных, ибо мир, где мы обречены влачить дни, сделался юдолью горьких слез и еще горшего безумия.

Лишь в одиночестве ты обретешь друзей,

Лишь после драки машут кулаками,

И солнце не встает над облаками,

И грамоты не знает книгочей,

а как он книги читает – неведомо. Увы! Но смотрите же, что случилось с прекрасной и добродетельной Ильдегондой и узнайте, как прекрасная катарка посрамила своих мучителей.

"Монахи" схватили несчастную Ильдегонду и связали ее так, что она стала напоминать кокон.

– Мы не станем больше ей грозить,

Мы ее не станем бить,

А вот как мы с нею поступим! – прокричали они в один голос и замерли на миг со зверскими гримасами на лицах, растопырив руки и расставив ноги. Затем Тюка с помощью Каталана притащил большую бочку и указал на нее размашистым жестом.

– В сию нечестивую нашу купель погрузим мы упорствующую в истинной вере девицу и силой окрестим ее в наше лжеучение!

Каталан подтащил ведро воды, заблаговременно приготовленное и спрятанное в стороне. Высоко подняв ведро, они с Тюкой вылили воду в бочку. Из щелей в бочке тут же потекли тонкие струйки. Каталан принялся затыкать щелки травой, ползая вокруг на четвереньках.

Между тем Агульон и Тюка подняли прямую, как палка, Ильдегонду, возложили ее себе на плечи и, ступая торжественно и медленно обошли с нею кругом всю сценическую площадку. Ильдегонда обреченно закрыла глаза.

А затем злокозненные "монахи" сунули Ильдегонду в бочку, сперва вниз головой, а затем, заметив ошибку, как положено.

– Сейчас ты примешь наше нечестивое крещение, – поведал Агульон страшным голосом.

– О жалкие, ничтожные еретики! – закричала Ильдегонда. – Никогда я не приму вашего нечестивого крещения!

– А нам плевать, ведь ты богата

И перед нами виновата!

Крещаешься во имя Папы Римского!.. Эй, что это?

Повисла пауза. Ожидание нагнеталось. Спустя мгновение зрители ощутили неладное. Настолько неладное, что между ними пробежал тихий, удивленный говорок. Домна Гильема демонстративно зажала нос двумя пальцами и устремила на Саварика негодующий взор – она мгновенно догадалась, что ужасающая вонь, распространившаяся из "купели", была частью замысла автора пьесы. А Саварик – золотоволосый, светлоглазый – и бровью не ведет, только вдруг угол рта у него предательски дернулся.

– Да! Вот так-то, многопочтенные! – выскочил вперед

услужливый Каталан и принялся отвешивать во все стороны поклон за поклоном. – Это именно то, что вы подумали! Это – дерь-мо! Наидерьмовейшее и наиболее сраное из возможных какашек, испражнений и всяких прочих говн!

– Пусть он прекратит! – взорвалась домна Гильема. – Эн Саварик! Что за площадное фиглярство! Велите вашему холую заткнуться!

– Холуй, заткнись! – рявкнул Саварик.

– Слушаюсь, господин мой, и затыкаюсь. Да только хоть молчи, хоть говори, а говно говном и останется. Ибо сами рассудите, – наглел на глазах Каталан, – господин мой и высокородные сеньоры, благосклоннейшая публика, как еще могла защититься несчастная госпожа Ильдегонда от зверей в монашеском обличии, ежели они связали ее по рукам и ногам и сунули в свою диавольскую купель, дабы отвратить от учения истинного и ввергнуть в поповскую ересь? Вот и испустила беззащитная девица в воду их крещения нечистоты тела своего и сделала, таким образом, нечестивую их купель тем, чем она завсегда и являлась – то есть, отхожим местом!

– Так была посрамлена ересь попов! – хором добавили Агульон и Тюка и утащили источающую смрад бочку вкупе с недвижимой Ильдегондой на задний двор – отмывать, очищать и умащивать благовониями.

– Так пьеса наша завершается,

А с вас за погляд причитается! – бойко сказал Каталан.

Эн Саварик засмеялся.

– Вот ведь шут гороховый!

– Нет, он миленький! – заявила домна Гильема непоследовательно.

– Ладно, брысь, Каталан.

– Нет, пусть останется, – вмешалась Гильема.

Каталан низко поклонился домне Гильеме и, разумеется, предпочел повиноваться скорее ей, нежели Саварику.

Для увеселения окружающих Каталан показал несколько трюков, которым обучили его Тюка с Агульоном: повертел на палочке блюдо, походил по саду колесом – сперва справа налево, потом слева направо; но тут ему не вполне повезло и он с размаху угодил ногами в дюжего слугу, спешившего из кухни с печеным гусем на большом фаянсовом блюде. Получив внезапный тычок, гусь отправился в свой последний полет к неописуемой радости вертевшихся между гостями псов; драгоценное блюдо удалось спасти, чего не скажешь о Каталане: настигнув, слуга крепко поколотил неловкого акробата, так что спустя неколикое время Каталан явил лик куда менее наглый, чем прежде, а нос и один

глаз – куда более фиолетовые против их природного цвета.

Остальные фигляры тем временем уже находились в саду и показывали всякие штуки и трюки, стояли на голове и друг у друга на плечах, перебрасывали мячи ножами, так что мячи как будто сами собой перепрыгивали с острия на острие. Ильдегонда, тщательно отмытая и одетая в новое платье, хотела петь, но гости невольно ее сторонились, и потому она была страшно зла.

Затея Саварика заключалась в том, что в бочке был заранее спрятан бычий пузырь, наполненный свиным – вот этим самым, вонючим, понимаете, чем. В решительный момент Ильдегонда раздавила его ногой, выпуская смрад на волю. Саварик Нечестивец, великий мастер на всякие неожиданности, радовался своей новой выдумке, точно дитя малое, и дабы осуществить ее в полной мере, не поскупился – заплатил Ильдегонде столько, что, узнай о том покойный отец, эн Раоль, заблаговременно лишил бы сына наследства.

Вино и музыка, задушевные разговоры и искренний смех наполняли сад, и постепенно мягкие теплые сумерки завладевали Шателайоном, окутывая деревья, колодец, галерею, скамьи. Наступало то любимое многими время суток, когда голоса начинают звучать из самой середины груди, а женские глаза делаются темными и – кажется – лишенными дна.

Каталан, и похваленный за добрую игру, и побитый за неуклюжесть, наконец улучил свободную минутку и вознаградил себя изрядным куском мяса, нашпигованного чесноком.

Эн Саварик, немало уже выпивший молодого вина и окончательно поссорившийся с домной Гильемой (чему был на самом деле несказанно рад, ибо эта ядовитая на язык и капризная дама порядком его утомила) подозвал Каталана к себе. Тот нехотя встал и, прихватив с собой тарелку, приблизился.

– Скажи, Каталан, – обратился к фигляру сеньор де Маллеон, – вот что хочу у тебя узнать… Ведь ремесло бродячего гистриона трудно, а достаток переменчив и часто вам случается жевать траву и пить одну лишь родниковую воду?

– Со слезами пополам, – охотно подтвердил Каталан. – Так оно и есть, господин мой. Иной раз и сам дивишься, как долго может жить человек вообще без всякой еды.

– Скажи, Каталан, откуда вы, в таком случае, добыли тот фиолетовый и зеленый атлас, из которого сшили хрен и яйца? Честно говоря, с той самой минуты, как я увидел вас на площади у постоялого двора, эта загадка не дает мне покоя.

– Загадки тут, господин мой, никакой нет, есть одна только удача. Случилось нам выступать в Рокамадуре и тешить тамошних благородных сеньоров песенками. Они щедро

наградили нас, хотя вы, конечно же, неизмеримо их в этом превзошли. – Тут Каталан, не в силах удержаться, отхватил здоровый кус мяса и продолжал свою повесть жуя. – А одна прекрасная и очень добрая дама призвала к себе нашего Тюку и спросила – чем вознаградить его за столь славное увеселение? Тюка же, немного разбираясь в куртуазной науке, пал к ее ногам и имел дерзновение попросить многоцветный атласный рукав ее платья, дабы носить всегда у сердца.

– Гм! – поперхнулся Саварик.

– Дама тотчас же отстегнула рукав, – невозмутимо говорил между тем Каталан, – и одарила бедного жонглера, который был вне себя от счастья. Ведь и самые ничтожные имеют право, согласно Кодексу Любви, любить самых знатных и прекрасных. Эта удовлетворенная просьба вызвала множество изысканных рассуждений о природе любви, о правах и обязанностях любовников – стоило послушать! Вот этот-то рукав мы впоследствии и приспособили к делу, господин мой, – заключил Каталан, заталкивая в рот последний кусок мяса.

Саварик сперва смеялся, а потом, став серьезным, сказал так:

Любить не стыдно, не зазорно,
Отдать себя любви – не грех,
Глумливый ей не страшен смех,
Любовь не верит слухам вздорным.
Но знай: тебя постигнет кара,
Коль ты доверишься фигляру.

На это Каталан, пожав плечами, ответил:

– Может быть.

Глава третья
АРНАУТ КАТАЛАН ИЗУЧАЕТ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЕДИНКОВ

На полпути к стране Вавилону,
Где сарацин коварен черный,
Посередь самого синего моря
Стоит гора – кому на радость, кому на горе.
На той горе живет бык печеный,
У него в жопе чеснок толченый.
Стекается туда люд крещеный -
Хлеб в чеснок макать да жрать.
И всем хорошо бы, да негде срать -
На двадцать пять лиг все вокруг засрано…

Ой, нет, нет, нет! Не поет больше Арнаут Каталан таких песен и прибаутками простонародными никого больше не тешит. А вместо того изучает он науку Куртуазию и делает в том немалые успехи.

Обласканный Савариком Нечестивцем, оставался он в Шателайоне, в то время как товарищи его двинулись в путь, ибо их Саварик Нечестивец обласкал в значительно меньшей мере.

Но и у Саварика Каталан не загостился, ибо домна Гильема де Бенож пожелала увезти ловкого забавника с собой. Этим намеревалась она весьма досадить эн Саварику – в чем, кстати, и преуспела. И с той поры они с Савариком больше не виделись.

У домны Гильемы в Беноже Каталан провел целых три года и ознаменовал свое пребывание там большим количеством подвигов, преимущественно ничтожных или бессмысленных.

Когда возраст Каталана стал неуклонно приближаться к двадцати годам, расстался он со своей госпожой. Сказать по правде, она его попросту выгнала, ибо надоел ей этот фигляр хуже горькой редьки.

Каталан же, ничуть не унывая, пустился в странствия на своей собственной лошади, которую получил в подарок от домны Гильемы, и неколикое время переходил от двора ко двору и от одного владетеля к другому, пока не осел при одной знатной даме, которую звали домна Алана де Вильнев.

При этой госпоже Каталан вскоре сделался любимцем, ибо преуспевал как в теориях искусства любовного ухаживания, так и

в изящном стихотворчестве, за что домна Алана также пожаловала его различными дарами. Жилось ему сытно и весело.

И вот какой прискорбный случай уничтожил процветание Каталана при этой даме.

Настала весна – девятнадцатая или двадцатая в жизни Каталана (точнее он и сам толком не знал). И вздумалось домне Алане отправиться в гости к домне Эрмесине де Нейстрив, госпоже весьма юной, красивой и сведущей в куртуазии. Взяла домна Алана с собой большую, пышную свиту – пятерых вассалов с оружием и семерых разных слуг, еще двух прислужниц, а с ними – и Арнаута Каталана, чтобы не приходилось в пути томиться скукой. Каталан же взял с собой лютню, ибо довольно искусно распевал различные песни, иногда собственного сочинения, но чаще – заученные от других жонглеров.

Весело ехали по залитому солнцем лесу, слушая пение птиц и переговариваясь. И столь отрадно было все вокруг, что мы уже не находим никаких слов для описания и потому уступаем место изысканным стихам, которые сложил по сходному поводу один славный виршеплет, именем Иоанн Готский:

…Оделись
В новую зелень леса, поля запестрели цветами;
На холмах и в долинах, в рощах, лесах и кусточках
Зачали бойкую песнь вновь ободренные пташки;
Каждая нива дышала весенних цветов ароматом;
Празднично, весело небо и пёстро земля красовались.

Вот в такую-то благодать и погрузились путники и, поскольку все они были молоды и не обременены ни заботами, ни недугами, ни какими-либо пороками, свойственными старческому возрасту, то и путешествие их было чрезвычайно приятным.

И вот видит домна Алана впереди красивую лесную полянку, покрытую мягкой травой, и так говорит, обращаясь к своим спутникам:

– Мы все уже изрядно притомились от долгого пути, а до владений сеньоры де Нейстрив ехать нам еще часа три, мне думается. Вон там я вижу хорошее место, чтобы нам остановиться и немного передохнуть, а заодно и воздать должное тем яствам, которые мы везем с собою как раз для такого случая.

Тотчас же все громко выразили согласие и стали спешиваться. Слуги расстелили на траве чистую холщовую скатерть, где, как по волшебству, появились кушанья и напитки. Воздух наполнился запахом свежего хлеба, печеного мяса,

различных приправ, среди которых сильнее всего благоухала корица.

За приятной трапезой затеялся весьма любопытный разговор, который стоило бы послушать уже ради того, чтобы научиться чему-нибудь полезному. Поводом для беседы послужила малокуртуазная ссора между двумя прислужницами сеньоры Аланы, которые распалились так, что, изрыгая непристойную брань, незамедлительно вцепились друг другу в волосы, вследствие чего четырем конюхам не без труда удалось их растащить.

Таким образом, разговор сам собою пошел о разного рода поединках и правилах вежества, которые надлежит при этом соблюдать, дабы вернее одержать победу.

Коротко говоря, содержание этой несравненно изящной беседы можно свести к следующей схеме:

ПОЕДИНКИ

С применением оружия

Словесные

насмерть обе стороны

стремятся выказать

лишь доблесть

ведущийсядля развлечения

ведущийсядля разгрома противника

когда ты распален гневом и противник твой тоже

когда ты распален, а противник спокоен

когда ты спокоен, а противник распален

когда вы оба спокойны

друг тебе противник

не друг тебе противник

Каждой разновидности соответствует свое отдельное правило, обеспечивающее успешное ведение поединка и в конечном итоге – победу. Так, вступая в поединок насмерть с применением оружия, надлежит ставить свою жизнь выше законов вежества. Напротив, в словесном поединке, ведущемся ради развлечения, рекомендуется стремиться скорее к поражению, нежели к победе. Последнее особенно предписывается в тех случаях, когда твоим противником является дама, чьей благосклонности ты добиваешься.

Арнаут Каталан скоро соскучился слушать сии отвлеченные рассуждения, по личному опыту отлично зная, что любой словесный поединок, ведущийся хоть для развлечения, хоть для разгрома противника, хоть с другом, хоть с недругом, хоть при взаимном распалении сторон, хоть при изначальном спокойствии, непременно завершается мордобоем – что и продемонстрировали обе прислужницы с очевидностью и не без блеска.

И потому, набив основательно брюхо, Каталан оставил сеньору Алану и ее друзей теоретизировать (а древо поединков, между тем, ветвилось и ширилось, покрываясь листочками и птичками) и углубился в лес на поиски иных развлечений и для начала помочился.

Спустя очень недолгое время Каталан выбрался к деревне, в чем не может быть усмотрено никакого дива, ибо места здесь весьма пригодны для земледелия и потому густо заселены. Некоторое время Каталан стоял на холме, щуря глаза в ярком солнечном свете и любуясь ковром зреющей к сенокосу сочной травы. Луга шли под уклон к прозрачной речке, за которой раскинулась деревня дворов на тридцать, не меньше. Свежая зелень листвы, напоенная светом синева небес, легкий ветерок, ласково оглаживающий лицо, – все это вдруг наполнило Каталана таким неистовым ликованием, что он, выкрикивая бессвязные песни, пустился в пляс на вершине холма – один-одинешенек, точно какой-нибудь древний языческий дух.

Так выплясывал он, позабыв все на свете, и вдруг обнаружил, что рядом, зачарованно вылупив глаза, стояла простоволосая крестьянская девка с приоткрытым ртом.

Каталан остановился, тяжело дыша. Черная прядь прилипла к потному лбу, темные глаза блестят, будто их смазали маслом.

– Ой, – басом выговорила девка и подхватилась бежать, но не тут-то было: Каталан сцапал ее за руку. Она дернулась – раз, другой – и от ужаса сомлела.

– Ты чего? – спросил ее Каталан, жадно вдыхая запах распаренного девкиного тела.

– Ой, – уже шепотом повторила девка.

И оттого ли, что шмель тяжко загудел в нагретой солнцем траве, оттого ли, что тянуло у девки из-под мышек сладким потом, оттого ли, что настала для Каталана двадцатая в его жизни весна, – только заголил он девкины плечи, обеими руками потянув на ней дерюжную рубаху. И открылись плечи, да такие круглые, что дух перехватило. И потому не стал Каталан отнимать от них ладони, а вместо того повел дальше и нырнул загребущей рукой в вырез рубахи. И тотчас же уловил большое мягкое полушарие.

Каталан пошевелил пальцами вокруг приятной выпуклости, а затем двинулся еще ниже и нечаянно порвал на девке рубаху. Тут она, опомнившись, взвизгнула и дернулась, а этого делать никак не следовало. В голове у Каталана все помутилось, ибо воспаленные грезы уже рисовали ему те бездны, что скрываются у нее ниже пупка. Он испугался до полусмерти: никак его сейчас вожделенного лишат? И потому, зарычав диким зверем, ловко опрокинул Каталан девку на траву и задрал на ней юбку.

Тут уж глупая сообразила, какая ей грозит опасность, и начала отбиваться, изо всех сил лягаясь ногами и ужом елозя под Каталаном. Поэтому уподобился Каталан неловкому фехтовальщику, который вслепую наносит мечом бесполезные удары и вместо того, чтобы точным выпадом поразить противника в уязвимое место, бьет то по щиту, то по стальным пластинам доспеха.

Таким образом, поединок велся между Каталаном и девкой насмерть, с применением оружия, причем оба противника были не на шутку распалены, так что ни о каком вежестве в данном случае и речи идти не могло.

Девка вырвала у Каталана прядь волос, а когда это не помогло, принялась вопить во все горло, призывая к себе на помощь односельчан. Но даже и это не могло остановить Каталана, ибо он наконец пробил брешь в обороне противника и поразил его насмерть.

Победа оказалась столь сладкой, что Каталан и сам заорал, как полоумный. И так, голося каждый на свой лад, совокупно тряслись они на вершине холма, а между тем в деревне их крики были услышаны и великое множество мужланов, вооружившихся палками, граблями, вилами и прочим дрекольем, уже мчались вверх по склону. Тут Каталан очнулся и, осознав всю грозившую ему смертельную опасность, как был в распущенных штанах, мотая мудями, рванул прочь, оставив девку завывать и корячиться на траве. Поскольку штаны мешали ему бежать, то Каталан выпрыгнул из них и ломанул через лес уже голозадым, прикрывая чувствительное место горстью, дабы ненароком не

поранить о сучья. Позади него, неотвратимо, как возмездие, топотали разъяренные мужланы, на ходу переговариваясь грубыми голосами.

Хуже всего было то, что мужланы не отставали и, хотя они пробежали уже значительное расстояние и изрядно отдалились от деревни, они явно не намеревались прекращать погони. Каталан мчался, от страха утратив рассудок, пока наконец не достиг той уютной поляны, где расположилась на отдых домна Алана.

– В случае, если словесный поединок ведется ради того, чтобы первенствовать, и если правота на твоей стороне, но противник твой распален, в то время как ты спокоен, учитывая также и то, что, хотя противник тебе и любезен, но ниже тебя по происхождению, ты поступишь наилучшим образом, если тихим голосом заговоришь о чем-либо с окружающими, дабы показать, что презираешь неправоту и… – Тут, прервав рассуждение, домна Алана пронзительно взвизгнула.

И было, от чего!

Моля о покровительстве, на поляну выскочил Каталан, облаченный в одну лишь рубаху, да и та, по правде сказать, изрядно поизорвалась во время безумного бегства. Со всклокоченными волосами, исцарапанный, покрытый потом, Каталан повалился к ногам домны Аланы, невнятно причитая и всхлипывая.

Почти сразу вслед за ним из гущи леса вырвались разъяренные мужланы, числом около сорока, весьма свирепые с виду, и угрожающе замахали своим оружием.

Из их бессвязных выкриков явствовало, что Каталан обесчестил в деревне девицу и что в отместку мужланы желают, во-первых, покарать срамотатца смертью, а во-вторых, нанести его покровительнице ущерб, соразмерный тому, что был причинен в деревне.

– Да он безумен! – закричала домна Алана, отпихивая ногой Каталана, судорожно цепляющегося за оторочку ее нарядного платья. – Разве вы не видите, что этот человек не в своем уме? Он дурак! Он блаженный! Он утратил рассудок! Он сумасшедший! Какой с него спрос?

– А! – заорал, выкатывая глаза, похожий на медведя бородатый мужлан. – Твой дурак лишил невинности мою сестру!

– Да он безумен, безумен! – Домна Алана заломила руки, в ужасе оглядываясь по сторонам. – Пощадите его и нас всех!

Каталан пал на спину и задергал в воздухе голыми ногами, подражая ослиному реву. Мужлан глядел на него некоторое время с сомнением, но затем решительно замотал косматой головой.

– Дурак так дурак! Нам-то что? Девка испорчена!

И надвинулся на домну Алану. Остальные мужланы тоже приблизились, выставляя вилы и колья. Брат испорченной девицы, не сводя глаз с домны Аланы и пустив уже слюну из угла рта на бороду, потянулся распустить завязки своих штанов.

Поняв, что у него на уме, домна Алана пронзительно закричала:

– Помогите! Помогите!

Тотчас ее вассалы и слуги схватились за оружие и отважно бросились защищать госпожу. Но силы были слишком неравными. Мужланы числом превосходили друзей и слуг домны Аланы в четыре раза – самое малое. И потому, невзирая на отвагу и доброе оружие, все защитники прекрасной дамы были перебиты, как мыши, – кроме Каталана, который в самом начале битвы уполз в кусты и там затаился, обхватив голову руками и крепко зажмурив глаза.

Одержав легкую победу, мужланы повалили на окровавленную землю прислужниц благородной домны и изнасиловали их. Саму же домну сперва связали, а затем раздели, ибо желали завладеть ее одеждой и украшениями. После чего нагую и беспомощную также расстелили на траве рядом с зареванными служанками и приготовились опозорить.

В этот ужасный миг в лесу затрещали ветки, запел охотничий рожок, загавкали псы – и на поляну вылетел всадник. При виде его мужланы тотчас же приостановили выполнение своего гнусного намерения и снова схватились за колья.

Однако всадник развернул коня и сбил с ног одного из мужланов, а после закричал громким голосом:

– На колени, скоты!

Видать, мужланы его признали, потому что опустили вилы и колья и расступились. Тот, что лежал на земле, сбитый конем, осторожно отполз в сторону.

– На колени! – гаркнул всадник снова, а конь под ним завертелся и громко зафыркал.

– Сеньор Саварик! – заголосил брат обесчещенной девицы, поспешно подтягивая штаны и валясь на колени перед танцующим конем. – Сеньор! Добрый господин! Выслушайте нас!

Саварик (а это был он) протянул руку, указывая на домну Алану.

– Немедленно развяжите эту госпожу и верните ей все то, что отобрали!

Мужланы торопливо развязали ей руки и нехотя бросили на землю всю снятую с нее одежду и драгоценности. Громко зарыдав, домна Алана пала лицом на ворох шелков, ее плечи

затряслись. Служанки, робко приблизившись, попытались помочь сеньоре облачиться, но та вдруг резко села, тряхнув грудями, и отхлестала их по щекам, после чего снова разрыдалась.

– Добрый господин! – вновь воззвал к Саварику мужлан и, видя, что Саварик уже тянется к мечу, пал головой в траву и шумно заплакал. – Добрый господин!

А Саварик подбоченился и убивать мужлана не стал.

– Ну, – позволил он, – говори.

Воспряв духом, мужлан выпрямился и, размахивая руками и вертя бородой то влево, то вправо, рассказал, как оно все было. Как человек этой вот сеньоры, безумный дурак, пробрался в деревню и, околдовав злым колдовством невинную девушку, злокозненно затем обесчестил ее; как на крик девушки прибежали односельчане и погнались за мерзким насильником, который без штанов так лихо улепетывал от возмездия, что привел их всех сюда; как вон та домна отказалась выдать негодяя и как было решено причинить ей ущерб сообразный с тем, что претерпела девушка…

Все это мужлан рассказывал сбивчиво и в самых подлых выражениях.

Тут домна Алана, перестав плакать, принялась судорожно натягивать на себя одежду, словно бы очнулась от страшного сна и обнаружила себя неподобающе раздетой среди великого скопления народу.

– А кто эти люди, которых вы тут поубивали? – спросил мужланов Саварик, озираясь вокруг и показывая на трупы, повсюду валявшиеся на поляне.

– Так это… господин мой… помешать хотели, ну мы их и… А чего они с нами так? Как со скотом!

– А вы и есть скоты! – вскинулась домна Алана. – Животные! Звери!

Саварик соскочил с коня и учтиво поклонился даме.

– Не случилось ли с вами какого-либо непоправимого несчастья, госпожа моя?

– Нет. Вы подоспели вовремя.

Саварик поцеловал ее руку.

– Саварик де Маллеон, ваш вечный раб, если вы только пожелаете, госпожа моя, – проговорил он, щуря серые глаза.

Слегка помягчев, домна Алана ответила:

– Мое имя – Алана де Вильнев. Я направлялась в гости к госпоже Эрмесине де Нейстрив, когда случилась эта неприятность.

– Это Иль-де-Рэ, госпожа моя, вы немного сбились с пути, но я провожу вас безопасной дорогой, куда пожелаете. Всегда рад

услужить вам.

– Напротив, – возразила домна Алана, – это я обязана вам сохранением своей чести и поэтому…

– О! – перебил ее эн Саварик с некоторой горячностью. – Мужчины должны во всем угождать дамам и служить им, ибо в этом их истинное предназначение. Ведь мы сотворены из глины и слеплены из грязи, а вы – из благороднейшего человеческого ребра!

– Как изысканно направление хода ваших мыслей, эн Саварик! – молвила домна Алана. – Поистине, я счастлива повстречать вас! – Тут она отступила на шаг и поглядела на мужланов, которые тотчас же ответили ей злобными взглядами. – Надеюсь, вы повесите этих кровожадных негодяев?

– Как – всех? – изумился Саварик.

– Всех! – решительно сказала домна Алана.

– Гм… – с сомнением проговорил Саварик.

– Если вы действительно хотите служить мне, то поступите, как я прошу.

– Гм, – повторил Саварик.

– Ну, хотя бы некоторых…

– Кого?

– Тех, чья вина наиболее отвратительна.

– Укажите мне, прошу вас.

– Ну… – Домна Алана замялась. – Может быть, вон того…

– Отчего же того?

– У него рожа зверская… Ах, не знаю! Вы нарочно хотите меня мучить!

– Увы, госпожа моя. Я не могу повесить сорок моих крестьян. Это слишком много.

– Но они убили моих людей!

– Поверьте, я искренне сожалею о гибели ваших добрых спутников, госпожа моя, – сказал Саварик. – Я позабочусь о том, чтобы их предали христианскому погребению.

– А эти… мужланы… Вы что же – действительно отпустите их всех? – Не веря собственным ушам, домна Алана отступила от Саварика на шаг, словно опасаясь подцепить от него какую-нибудь опасную болезнь. – Вы… отказываетесь покарать их?

Морща в улыбке веснушчатое лицо, Саварик виновато развел руками.

– Это мои крестьяне, сеньора. Мне не хотелось бы чинить над ними расправу. Да и не могу я, никак не могу повесить сорок человек.

– Почему? – запальчиво спросила домна Алана. – Ведь они виновны!

Саварик вместо ответа только молча поклонился и уставился на домну Алану – довольно дерзко, надо заметить.

– Это возмутительно! – вскрикнула домна Алана.

Саварик пожал плечами.

Тут брат изнасилованной девицы подполз, перемещаясь на коленях, поближе к Саварику и спросил, шевеля бородой:

– А мы… а моя сестра? Как же мы?..

– Я оставляю вас в живых, – ответил ему Саварик.

И тут кусты зашевелились и оттуда осторожно выглянул Каталан.

– А, вот он! – в один голос закричали сорок мужланов. – Умоляем вас, господин, позвольте нам убить этого человека, ведь он единственный виноват во всем случившемся.

Не отвечая мужланам, Саварик поманил виновника пальцем.

– А ну, подойди сюда, засранец.

Кое-как прикрываясь рубахой, Каталан приблизился и опасливо втянул голову в плечи. Саварик оглядел его, стараясь не расхохотаться. Набравшись наглости, Каталан исподтишка метнул на него взгляд, другой и вдруг признал – заулыбался, убрал руки, натягивающие подол рубахи на причинное место, запрыгал, завопил:

– Я знатный рыцарь Боссен, у меня вот такенный хрен!

– А я знатный рыцарь Лантса, у меня вот такенные яйца! – весело отозвался эн Саварик. И повернулся к крестьянам, сумрачно ожидавшим позволения разорвать Каталана на куски. – Нет, друзья мои, не могу я вам отдать этого мерзавца. Я забираю его себе. А девушку выдайте замуж за хорошего человека. Я дам за ней приданое, не обижу.

Крестьяне, забыв обиду, дружно завопили хвалу эн Саварику, щедрому и доброму сеньору, и убрались наконец с поляны.

Домна Алана де Вильнев в сопровождении Саварика и двух прислужниц была благополучно доставлена к Эрмесине де Нейстрив. День был ясный, кругом зацветали сады, добрые лошадки резво бежали по накатанной дороге. И только одно помрачало для домны Аланы белый свет: за спиной эн Саварика сидел и корчил умильные морды бесстыдный голозадый Каталан.

Глава четвертая
АРНАУТ КАТАЛАН ССОРИТСЯ С ДАМОЙ

Ах, как часто, да с какой горькою слезой, вспоминал потом Арнаут Каталан сытное времечко, проведенное у Саварика Нечестивца в Иль-де-Рэ!

Целыми днями Каталан не делал ровным счетом ничего, а только валялся на травке, слонялся по лугам и рощам, бряцал на лютне и роте, мычал под нос разные мелодии и сочинял пустые песенки, лепя слово к слову, как придется.

Добрый сеньор Маллеон благосклонно принимал сочинения Каталана, ибо находил в них нечто свежее и такое, чего не находил больше нигде.

Дни сменялись днями, не принося ничего нового, в брюхе было всегда тепло и сытно, а в голове – ясно и как-то поэтически, уста же в любое мгновение готовы растянуться в ухмылке или того лучше – раскрыться пошире для хохота. Так славно жилось Каталану у доброго сеньора Саварика!

И вот однажды осенним вечером пришел в Иль-де-Рэ один катарский проповедник, сопровождаемый двумя учениками.

Звали его Эркенбальд из Сен-Мишеля. Вошел в деревню уже затемно. Шагал опираясь на руку одного из учеников, а другой ученик, постарше, ступал следом, неся на плече нищенскую суму. Деревенские псы бежали за ними, громко гавкая, но трое путников не обращали на это никакого внимания. Даже шага не замедлили.

Постучались в дверь самого бедного дома на окраине и тут же обрели и пищу, и кров, а взамен одарили хозяев убогого жилища своим благословением.

Наутро "совершенный" попросил хозяина сказать эн Саварику о прибытии святых. Эта просьба была с радостью исполнена, ибо жители Иль-де-Рэ, как, впрочем, и других Савариковых вотчин, весьма любили и почитали своего вольнодумного сеньора.

Саварик пришел, да не один, а с Каталанам – тот упросил взять с собой. Отчасти хотелось Каталану приобщиться к чужой святости, но куда в большей степени глодало его любопытство. Прежде ему доводилось изображать верных катаров в представлениях, но самим катарским вероучением он как-то до сих пор не проникся. Словом, одно дело – ломать комедию, и другое – братская трапеза в присутствии настоящего

"совершенного".

Хозяин дома, завидев Саварика еще издали, выскочил ему навстречу, засуетился, несколько раз вбегал в дом и снова выбегал и, наконец, застыл на пороге в низком поклоне.

Саварик остановился перед ним, поздоровался – серьезно и даже как будто почтительно. Бедный крестьянин, от счастья ошалев, только пролепетал что-то и толкнул дверь, пропуская вперед сеньора. Саварик вошел, пригнув голову под низкой притолокой, а следом за ним юркнул и Каталан.

В доме уже набралось народу – человек десять, никак не менее.

А у очага сидел крепкий, суховатый старик в черной одежде из грубой шерсти. Когда он поднял голову, Каталан подавился собственным дыханием: таким светлым было старое лицо, исчерченное множеством морщинок, с ввалившимся ртом и лучистыми глазами. Цепенея от восторга, Каталан за спиной Саварика обменялся с одним крестьянином сумасшедшим взглядом – и оба, без слов понимая друг друга, вздохнули одновременно.

Старик немного подвинулся, освобождая у очага место для Саварика. Саварик же сперва встал на колени и испросил благословения. Каталан видел, как сеньор де Маллеон вздрогнул от счастья, когда высохшая старческая рука коснулась его плеча и тихий, надтреснутый голос проговорил:

– Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с тобою, дитя мое.

После этого Саварик уселся на чурбачок, выпачканный в саже, а Каталан пристроился в углу, откуда мог как хотел наблюдать за удивительным стариком.

Вошел еще один человек в черных одеждах – тот, кого старик именовал своим старшим сыном, – подал хлеб в чистой холщовой тряпице и книгу в темном переплете.

Эркенбальд из Сен-Мишеля встал, принял книгу и, не открывая ее – просто прикасаясь, просто лаская ее пальцами, – вполголоса пропел молитву Господню. Он пел не на латыни, а по-провансальски. Впервые в жизни Каталан до конца понял эти священные слова, и глубокое восхищение наполнило его. Вот как все, оказывается, совершенно и просто! Ему хотелось плакать и смеяться.

А эн Саварик и еще несколько присутствующих знали эту молитву и шевелили губами следом за стариком, а в конце в один голос проговорили "аминь".

Закончив молиться, старик отдал книгу своему сыну и начал вопрошание:

– Сын мой, ответь: каков есть Бог?

– Бог есть великий, совершенный, безусловный, добрый, свет миру, – негромко, но внятно ответил второй совершенный.

– Отчего же на земле существует столько зла, отчего безумствуют вражда, войны, беды, болезни, голод?

– Оттого, что силен враг Бога – диавол.

– Отчего несовершенен человек?

– Оттого, что он заключен в свое тело, как в темницу.

– Отчего же заключен он в тело как в темницу?

– Оттого, что тело, смертное, подверженное боли, страданию и тлению, создал диавол для уловления бессмертных небесных душ.

– Чем доказать безраздельную власть диавола над нашим миром?

– Всеблагий Бог не может быть творцом существ вредных и злокозненных. Не творил добрый Бог ни змей с ядовитым жалом, ни кусачей мошки, ни жабы, от которой кожа покрывается бородавками, ни мышей, проедающих мешки с зерном…

И тут, будто ее нарочно позвали, из-за ларя высунула чуткий нос мышка. Помедлив, она продвинулась еще чуть-чуть вперед и снова замерла – только любопытные черные глазки поблескивают в полумраке.

Эркенбальд прекратил вопрошание. Медленно протянул он руку к мышке и молвил:

– Внемли мне, дитя диаволевлево.

Мышка, казалось, даже дышать перестала.

В полной тишине Эркенбальд проговорил:

– Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с нами вовек.

Только это.

Но мышка, сделав вперед несколько неуверенных шажков, вдруг затихла, аккуратно подобрав под брюшко лапки.

Старец повернулся к Каталану и кивнул тому подбородком.

– Посмотри на нее, как следует, дитя мое.

Каталан осторожно толкнул мышку носком башмака. Мышка была мертва. Она все так же поблескивала глазками, верхняя губа у нее чуть задралась, открыв два передних резца, а под хвостом выступила и застыла густая капля крови. Подняв мышку за хвост, Каталан бросил ее в огонь.

Как ни в чем не бывало, Эркенбальд продолжил:

– Сын мой, почему же столь печальна участь человека?

Ученик "совершенного", терпеливо ожидавший, пока возобновится диалог, тотчас же отвечал:

– Потому что порок гнетет человека; грех был создан

одновременно с бренным телом, которое, претерпев множество страданий, в конце концов погибает.

– Может ли человек в этой земной жизни освободиться от порока?

– "Может ли эфиоп поменять черную кожу свою и барс – пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкши делать злое?" – ответил ученик цитатой из Священного Писания.

– Где же спасение?

– В Боге.

– Как понимать Бога?

Ученик не стал отвечать и молча склонил голову.

Тогда Эркенбальд отбросил на спину капюшон, открыв длинные, совершенно белые волосы. От его лица и поднятых ладонями вперед рук исходил тихий свет.

– Никто да не станет служить двум господам, – заговорил "совершенный". – Живя здесь, в плотском греховном мире, прикованные к телу, как рабы к веслу галеры, мы – слуги диаволевлевы и ничуть не лучше той мыши, которую умертвило одно лишь упоминание Господнего имени! Но отлепите духовные очи от созерцания посюстороннего, направьте взгляд в горние выси! И вы увидите… – Эркенбальд закрыл глаза и постепенно стал раскачиваться из стороны в сторону, и слушатели его, как завороженные, тоже стали покачиваться, даже не заметив этого, пока, наконец, все в доме не забыли себя. – Направьте взор свой в горние выси – и вы увидите Творца всего невидимого, Бога Света, Бога Истины, Родник Душ, Владыку беспредельного мира, что отделён и отделен от всего плотского, осязаемого и греховного. Господь порождает только то, что доступно духовному оку. Разве не сказано Павлом: "Мы знаем, что закон духовен, а я – плотян, продан греху". Итак, грех и плоть суть одно и то же, и не бывает греха без плоти и плоти без греха. Господь, чистый и святой, гнушается всего плотского. Для Него нет прошлого, настоящего будущего, но вечно длится Его День. В Царствии Небесном живут Его чада возлюбленные. Там нет меры, числа, времени. Небожители – свет, и свет окружает их, и сами они – беспредельное сияние, и с первого часа своего появления сподобились они лицезреть Господа во всей Его славе. И вот говорю вам, прозябающие во грехе узники плоти и диавола: не верьте лжи католических попов, когда те пугают вас смертью и адом! Ибо душа ваша будет после смерти раз за разом вселяться в другие земные тела, иногда в людские, а иногда и в скотские! И раз за разом будет она претерпевать неслыханные страдания, томясь по обители бесконечного света, откуда она исторгнута была злой волей, ибо душа сохраняет память о свете. Но в конце

концов… – Эркенбальд замолчал. И вдруг раскрыл глаза, вспыхнувшие в полумраке ослепительным золотым светом. – Говорю вам, – и голос его зазвенел медью, – говорю вам: В КОНЦЕ КОНЦОВ СПАСЕНЫ БУДУТ ВСЕ!

И не стыдясь слез, все, кто был в доме, пали на колени, и Эркенбальд, сам плача, благословил собравшихся, а после разделил между ними хлеб, и все ели, и не было хлеба вкуснее.

***

Сколько раз потом, скитаясь по трактирам, тревожа пыльный прах дорог, ночуя под звездами или под низким прокопченным потолком, мечтал Каталан вернуться к Саварику

В тот темный сад, где дева осквернена
Влачит подол кровавый по земле,
Где ржавых листьев, потревоженных стопою,
Так слышен чуткий шорох.
Сад,
Где звери странные, сплетенные в соитьи,
Рождают чудищ, диких и печальных,
Где темные языческие книги,
Где алфавит, распятый на деревьях,
Глядит большими и усталыми глазами
С страниц окровавленных…

Но не всякой мечте суждено сбыться. Настала новая весна и вместе с пробуждением природы – новая напасть. Эн Саварик как раз отыскал занятие себе по душе и вверг свое бренное тело в водоворот новых несчастий и приключений, отправившись на север к королю Иоанну. Каталан же наотрез отказался покидать Прованс, и таким образом они с эн Савариком расстались.

На этот раз Каталан двинулся в Ломбардию, где рассчитывал присоединиться к труппе бродячих гистрионов, либо, если повезет, растопить сердце какого-нибудь состоятельного сеньора и осесть при нем.

И с какой печали понесло Каталана в Ломбардию? Никто не ждал его там, как, впрочем, и в любом другом месте. Не было у него ни друзей, ни покровителей, ни сколько-нибудь сносных средств к существованию. Однако ж минуло несколько недель – и обустроился Каталан в одном из миланских трактиров, а вскорости, глазея во время мессы на женщин, отыскал себе и даму сердца. Свести знакомство с ней оказалось делом

нетрудным, и вскоре уже эта донна настолько утратила осторожность, что стала принимать Каталана у себя в доме наедине.

Звали ее донна Гарсенда, и была она сколь глупа, столь и прекрасна – как раз то, что требовалось Каталану.

Как любил Каталан эти вечера в Милане, когда дневные заботы начинали клониться к исходу! Вот хозяин трактира кричал своей нерасторопной жене, чтобы та ставила ставни да разжигала огонь в камине. Почти сразу вслед за тем на кухню сует бельмастую морду нищий, желая получить ежедневную порцию обкусанных хлебных корок, сберегаемых нарочно для него стряпухой. А с маленькой церковки Рождества Богоматери уже льется звон.

И все вместе это означает, что пора Каталану покидать трактир и идти в гости к прекрасной донне – ради которой он весь день просидел за столом, сочиняя новую песенку.

И вот – по удлинняющимся теням, по влажным после дождя улицам, кое-где вымощенным брусчаткой, мимо кирпичной стены монастыря святых Протасия и Гервасия, где на уровне человеческого лица вдруг вырастает утопленный в кирпичах маленький щекастый ангел, льнущий к небольшому органчику… и дальше, дальше по успокаивающемуся городу неспешным и все же стремительным шагом шествует Арнаут Каталан к двухэтажному дому, где, будто жемчужина в шкатулке, обитает прекрасная донна, венец мечтаний.

Да и сам Каталан – разве не ладно скроен, разве не молод он и не хорош собой? Язык у него подвешен, голос – как медная труба, рост высокий, повадка бойкая, да и лицо не лишено обаяния. И песни слагать он ловок. Уж который день вливает донне в уши сладкий яд, не слишком заботясь о приличиях, а та и рада – заслушивается.

Вот таков Каталан!

Имеются у него и иные достоинства, с которыми донна не спешит познакомиться. Каталана это весьма огорчает, ибо он предполагает получить от такого знакомства немалое удовольствие.

И вот служанка, бесстыдно лыбясь (во всё уж мыслями, небось, проникла чертовка!) впускает Каталана в дом и ведет по лесенке наверх, на второй этаж, в жилые покои, где на полу благоухает свежая солома, а на стене висит гобелен с изображением обезьянок, вкушающих фрукты.

– Ах, это вы, мой милый кавалер! – говорит донна Гарсенда и усаживается поудобнее, и складывает ручки на коленках, смиренница. – Прошу вас, садитесь напротив, дабы я лучше могла

видеть ваше лживое лицо!

– Отчего же вы называете мое лицо лживым? – притворно удивляется Каталан, однако резво исполняет просьбу донны.

А служанка, тихонечко хихикнув, затворяет за собой дверь.

Конечно, донна права. Конечно, такой продувной бестии, как Арнаут Каталан, свет не видывал, да только говорить об этом вот так открыто, право, не стоит. Ведь касательно донны Гарсенды у Каталана имеются определенные намерения, которым весьма повредит подобная правда.

И потому, скромно выказывая приязнь, он заводит с дамой приличную беседу, чтобы и увлечь, и развлечь, и расширить кругозор, а к делу приступать не спешит.

– Вот, моя госпожа, мы окружены множеством самых разнообразных животных и скотов и смотрим на них сообразно их внешнему виду, а между тем многие из них, кроме гадов, носят в себе человеческую душу.

Так вполне благочестиво начинает беседу Арнаут Каталан.

– Как это? – спрашивает донна Гарсенда, а сама берет с серебряного блюда виноград и кушает.

– Ведь души, моя госпожа, – приступает к объяснению Каталан, а сам ненароком притрагивается к донне – к тому месту, где тонкое полотно слегка набухает на груди. Донна в некотором недоумении опускает глаза на свою грудь. Каталан нехотя убирает руку. – Все души, госпожа моя, после смерти вновь возвращаются на землю и воплощаются в новых телах.

– Для чего это? – спрашивает донна.

– Для того, чтобы искупить грехи прошлой жизни, ведь над каждым из нас тяготеет родовое проклятие, – благочестивым тоном ответствует Каталан. – С грехом мы приходим в этот мир.

– Неужто все? – спрашивает донна.

– Кроме нерожденных младенцев.

Донна тихонечко вздыхает – от страха и непонятного томления.

Уже увереннее Каталан продолжает:

– И сообразно с тем, кем был человек при жизни, душе его определяется искупление. Так, взять, скажем, осла.

– Осла?

– Ну да, дикого осла, онагра.

– Фи, сеньор, сие неблагозвучно.

– Мадонна, дикий осел, если не может отыскать себе пропитания, тотчас начинает громко реветь. Он ревет изо всех сил, пока не лопнет, забрызгивая все вокруг кровью из кишок… Ах, мадонна, иной раз думается мне, что такова будет моя участь после смерти, ибо я вечно голоден и кричу по площадям,

выпрашивая себе на пропитание!

– Ах, что за глупости вы говорите! Прекратите немедленно, или я рассержусь!

И она берет из корзины подсушенный, тонко нарезанный хлебец и принимается хрустеть им, а Каталан между тем жадно смотрит на ее ровные мелкие зубки.

– Хорошо, мадонна, вот вам другое предположение. Я думаю, что после смерти быть мне сверчком.

– Сверчком? Что за глупая фантазия!

– Да, мадонна, ведь сверчок поет очень старательно и из-за этого часто забывает покушать и таким образом дохнет от голода. Совсем как я…

Донна очень недовольна.

– А знаете что, эн Каталан, вы немилы уже потому, что ничего не говорите обо мне, а только лишь о себе самом. Ну, как, по-вашему, – кем я буду в следующей жизни?

– Собакой, – не моргнув глазом отвечает Каталан.

Донна ужасно разочарована.

– Отчего же собакой?

– Вам должно быть известно, моя госпожа, что собаке свойственно возвращаться на свою блевотину… – начинает Каталан вкрадчиво и, отыскав пальчики донны, завладевает ими, сперва мизинчиком, потом и остальными.

– Откуда мне должна быть известна такая гадость?

– Из Святого Писания… Там ясно сказано, что собака возвращается на блевотину свою. Кстати, все Писание сплошь истина, мадонна, ибо мне не раз доводилось наблюдать собак, поедающих свою блевотину…

– Да как вы смеете!..

– Я только хочу сказать, мадонна, что вы, подобно такой собаке, часто готовы проглотить назад обещания, которые уже извергли однажды ваши уста.

– Ах, негодяй! Замолчите! Немедленно замолчите! Не то я стану бить вас по щекам!

Каталан выпускает ее руку и как бы невзначай принимается напевать, так что донна в конце концов сменяет гнев на милость и прислушивается. И уж конечно постепенно она делается все благосклоннее и внимает усердно, склоняя голову то вправо, то влево.

Ибо Каталан бессовестно воспевает ее круглое белое личико, ее немного узкие, всегда прищуренные глаза, ее чуткие ноздри и изящные ушки… Для всего найдется у Каталана прекрасное словцо!

Что до одежды ее – то это, если верить Каталану, сама по себе

была уже целая поэма. Ибо, скрывая столь недоступное и желанное тело за водопадом свободно струящихся складок, она, вместе с тем, каким-то исключительно ловким образом бесстыдно обозначала его, вызывая подлинное смятение ума и сердца.

Под просторным сюркотом угадывался камизот из тонкого полотна ценою в шесть византийских безантов за штуку, пошитый таким образом, что чрезмерно длинные рукава, поддернутые у запястья, собирались изящными поперечными складками, обвивая полные руки и соперничая с ними белизною.

Далее глаз поневоле скользил к нежному горлу, где в неглубокой ямке дышит живчик, прикрытый тяжелой брошью в форме шестилепестковой розы, работы тонкой и мастерской. И нет у Каталана желания острее, нежели жажда коснуться пальцами этой розы, а затем, словно бы невзначай отведя ее в сторону, проникнуть чуткими перстами туда, где сильными, размеренными толчками бьется жизнь полной соков донны.

От этого прикосновения дух перехватывает, и в светлых еще сумерках, где бледно пылает одна-единственная ранняя свеча, вдруг вспыхивают глаза, и темные губы бледного лица лепечут:

– Что… делаете вы… мессен?

Чуть ниже розы – узкий разрез, открывающий грудь. То размыкаясь, то вновь смыкаясь, края ткани позволяют увидеть две небольшие округлости, сходные не с чашами, но с алхимическими воронками, вратами для всякого рода жидкости, входящей в узкие сосуды.

При одной только мысли о них у Каталана все в глазах мутнеет. Не слыша голоса, утопая в шуме ненасытной крови, подобном прибою, он говорит, говорит, говорит – стихами, стихами…

Рифма цепляется за рифму, строки сплетаются в соитии, и если где-то начинает прихрамывать непослушная строка, то лишь от дыхания, вдруг ставшего прерывистым.

А там, где тело донны после узкой талии круто и вместе с тем плавно разлетается на бедра и, словно рассеченное мечом, разделяется на две стройные ноги, – там угадывается и вторая роза. Угадывается так же явственно, как если бы ее не скрывали струящиеся одежды.

Каталан извлекает из ножен кинжал и медленно подносит острие к горлу донны. Оцепеневшая, как голубка под взором удава, донна откидывает голову назад, касаясь длинными косами отлакированного сиденья резной скамьи, и все ее прекрасное тело вздрагивает в ожидании.

Лишь на краткий миг острие приникает к атласной коже, оставляя на ней едва заметную вмятинку. Но этого мгновения

довольно, чтобы Каталана пронзила острейшая, тончайшая, хрустальнейшая игла, войдя в затылок и выйдя чрез некое иное место тела, где, утвердясь, и застыла, сосредоточив в себе все его греховные устремления.

И миг спустя сладкое безумие устремляет руку с кинжалом ниже, лезвие осторожно скользит от горла до ложбины, и вот уже оно впивается в ткань, и тонкое полотно податливо расступается перед сталью, и двумя потоками ниспадает с плеч, открывая груди и золоченый крестик между ними.

Эти груди оказались именно таковы, какими прозревал их Каталан в преступных грезах, и даже гораздо лучше того. И при виде темных сосков в окружении нежных розоватых пятен, он наконец теряет голову. Прежде чем он успевает отбросить кинжал, на животе у донны, прямо над пупком, появляется красная нитка – совсем короткая. Донна вскрикивает. Кинжал летит в стену и, звякнув о камень, исчезает, а руки Каталана, сплетаясь с белыми руками донны, все глубже проникают в прорехи ее одежды и прикасаются, наконец, к тому месту, где донна начинает раздваиваться.

***

– Вы негодяй, сеньор! Вы негодяй! Ах!..

– Но донна, разве я…

– Вы – фавн, сатир, вы – похотливый носорог!

– Но донна, ведь вы… Ведь вы сами… Отнюдь не возражали, когда я…

– Молчите! Бесстыдник!

– Мадонна, я только хочу напомнить вам некоторые обстоятельства, которые могут вполне меня оправдать в ваших глазах и…

– Я вас ненавижу!

– Но за что? – в отчаянии завопил Каталан. – Все так замечательно начиналось!

– Зато отвратительно закончилось!

– Мадонна, я люблю вас! Клянусь спасением души, я люблю вас! То есть, клянусь новым воплощением души… Сжальтесь!

– Вы порвали мое платье, ценою в шесть византийских безантов за штуку!

– Я заплачу! Я возмещу вам ущерб!

– А моя честь?

– Уверяю вас, она ничуть не пострадает!

– А мой муж?

– От него, ей-богу, ни в малой степени не убудет! Мадонна, выслушайте меня…

– Убирайтесь!

И в Каталана летит сперва серебряное блюдо, откуда они совсем недавно, сталкиваясь пальцами, совместно брали виноград, а потом и кубок в виде раковины пилигрима с серебряным ободком по верхнему краю, двурогая вилочка для яблок, весьма острая и опасная, колючая пряжка с сюркота донны, деревянный поднос для хлеба, медный рукомойник в виде барана с закрученными назад рогами и, наконец, тяжелый кувшин, наполовину еще полный вина.

Глава пятая
АРНАУТ КАТАЛАН ПОПАДАЕТ ИЗ ОДНОЙ БЕДЫ ДА В ДРУГУЮ

Отчего так получается, что как ни старайся, как ни выслуживайся, пользы все равно никакой: беда сторожит за каждым углом. Да и то сказать, подстерегала бы она какого-нибудь страдальца, который только и ищет в жизни, как бы ему претерпеть мучения и тем самым возвыситься. Так нет же, надо было ей ополчиться на Каталана, который пострадать вовсе не рвался; напротив – хотел он прожить свою жизнь весело, смеша и развлекая окружающих и извлекая из чужого смеха немалую пользу для себя.

И ничегошеньки у него не получалось.

Оставив Ломбардию, направился он в Лангедок, но опять не угадал. Пока прохлаждался за горами, война подошла под самые стены Тулузы.

И зашагал Каталан по зеленым полям Лорагэ, прочь от войны. Миновал Вильфранш, Авиньонет… По утрам женщины с корзинами, полными овощей, выходили на площадь – торговать; стадо, мыча, хрюкая, мекая, двигалось по улице к городским воротам; несколько человек торопливо выходили из церкви, где, видать, были у них неотложные дела к Господу Богу. И нигде не нужен Арнаут Каталан с его шутовством и песенками.

А он и не обижался. Шел себе и шел по дороге, отмахивая лигу за лигой; иной раз перепадало ему что-нибудь – спасибо, а иной раз и вовсе ничего не перепадало.

Добрых деньков выпало Каталану немного, и один из них оказался воскресным. Эта радость застигла Каталана в Сен-Бертран-де-Коминж, и уж как пел-заливался наш фигляр на площади у старого, темного, с могучими боками собора Сен-Бертран, то у голодного желудка спрашивать надобно. Запоешь тут, когда из всех харчевен убийственные запахи, а в кошеле пустехонько.

Когда мой сын дитятею был,
Господь по земле пешком ходил,
Был мир Ему послушен,
Все в мире имело душу:
Душа у сада, душа у камня,
Душа у папы, душа у мамы.

Когда мой сын в года вошел,
Тогда мой сын в солдаты пошел,
Оружие в руки он получил,
А дьявол его считать научил:
Город – солид, крепость – два,
А человек за ни фига,
Деревня – грош, сад – два гроша,
А душа за ни шиша!

Так или примерно так распевал Каталан, и выплясывал, и гримасничал, и на голове стоять пытался, да подвела бедного голодуха: в глазах помутилось, и рухнул он, стеная прежалостно, перед всей почтенной публикой.

Однако слушатели в Сен-Бертране попались незлобивые, веселые, и несмотря на падение щедро надавали неудачнику-жонглеру медных грошиков, а один весьма важный господин вручил серебряный солид – повезло так повезло!

Те грошики Каталан тут же, не сходя с места, и проел, да еще про запас купил вина фляжку да хлеба краюшку, переночевал под навесом, где бочки с водой, а наутро опять тронулся в путь.

На том удача Каталанова и закончилась. Зарядил дождь, всего до нитки Каталана промочил. В худой плащ кутался Каталан, как мог, голову в плечи втягивал, мало в желудок ее не уронил, руками себя по бокам охлопывал, бежать пытался – что только ни делал, чтобы согреться. Но если уж похолодало, да еще дождем подмочило – жди, пока найдется случай обсохнуть. А пока вода в башмаках хлюпает, надежды не будет, стучи зубами и судьбу проклинай, ничего другого не остается.

Вот и брел Каталан по дороге, до ниточки мокрый, продрогший, зубами стучал и судьбу проклинал и больше ничего не делал. Как вдруг повстречались ему три человека с рогожными капюшонами на голове – будто нищие или бродяги, кто разберет. Дорогу Каталану заступили. И все молчком, молчком.

Каталан остановился. И полагая, что из молчания ничего хорошего не выйдет, заговорил с этими тремя заискивающе:

– Здравствуйте, добрые люди.

А те сказали:

– Знаем мы: ты – тот жонглер, что кривлялся в воскресный день перед собором Сен-Бертран. И дал тебе мессен де Коминж серебряный солид, так хорошо сумел ты ему угодить.

– Да, это я, – признал Каталан, поскольку отпираться было бесполезно.

– Ну так отдай нам этот серебряный солид, – продолжал

самый рослый из троих. А остальные ближе придвинулись.

Каталан слегка попятился.

– Помилуйте, добрые люди, ведь это мое единственное достояние. Я умру с голоду, если отдам вам его.

Все трое рассмеялись.

– Ты все равно не знаешь, что с ним делать.

И подсказал Каталану его богатый житейский опыт, что сейчас крепко побьют его эти трое и потому надо либо удирать со всех ног, либо просить пощады. Жаль стало Каталану серебряного солида – ну так жаль! – и потому обратился он в бегство. А что оказалось это ошибкой, понял скоро, да только было уж поздно: настигли его шутя, а вот отделали без всякого смеха и снисхождения и деньги отняли.

И остался Каталан один на дороге, с разбитой мордой, без еды, без помощи, без последней надежды. Хотел заплакать – да какое там плакать! Дышать и то больно.

Кое-как побрел дальше, авось встретится кто-нибудь.

В сумерках обогнали Каталана всадники. Каталан не растерялся, собрал остатки сил, за стремя уцепился, крича:

– Помогите мне, добрый господин!

Но сил только на это и достало. Разжал ослабевшие пальцы, рухнул лицом в грязь и от сильного удара о землю на миг потерял сознание. Думал уж, что всадники прочь унеслись, но нет – вот приближается к нему кто-то и ногой несильно толкает.

– Эй, ты! Да кто ты таков?

Каталан с громким стоном закопошился в жидкой грязи, поднялся на четвереньки, головой помотал. Лицо расквашенное поднял, глянул мутно – ничего не увидел, так, тень, громада какая-то над ним высится. Хлынули у Каталана слезы, сказать же ничего не смог.

А рядом другой голос – низкий, спокойный:

– Возьми его в седло, Гильем.

И подхватили Каталана крепкие руки, помогли подняться, на коня усадили. Конь под холодным дождем горячий, пахнет от него крепко. Как тронулись рысью, так каждая косточка в избитом Каталановом теле запричитала на свой лад; стиснул зубы Каталан, жаловаться не смея.

Вот так оказался он в Каркассоне; а подобрал его воистину добрый сеньор – Пейре Рожьер де Сейссак, знатный рыцарь и шателен, бывший в родстве со многими именитыми баронами Лангедока.

Об этом Каталан узнал уже вечером, лежа на постели за кухней, ближе к печи, в каркассонском доме господина де Сейссака. Прислужницы битую морду жонглеру умыли и,

обнаружив под слоем крови и грязи человека молодого и если не смазливого, то все же довольно привлекательного, дружно принялись хихикать, строить глазки и шептать друг дружке на ухо. Обласканный, накормленный, умытый, Каталан обмяк и стал многословно жаловаться на свою разнесчастную жонглерскую долю. Все, все без утайки поведал: и о милостивом, но неудачливом бароне Саварике Нечестивце; и о своевольной Гильеме де Бенож, и о прекрасной и разумной Алане де Вильнев, и о глупенькой Гарсенде.

Едва завершил он горестную повесть, как незамедлительно обнаружил рядом с собой немало привлекательных девушек, каждая из которых была рада вознаградить его за все перенесенные прежде невзгоды.

И, осчастливленный таким образом, заснул Каталан.

***

Большой дом де Сейссака был полон людей: семейных и челядинцев, воинов и катарских духовных лиц, всех, кого только мог укрыть и приютить, спасая от франков. Хранил у себя припасы, рассылая их потом с верными людьми по потаенным катарским общинам; принимал у себя и лечил раненых и больных, которым почему-либо не следовало открыто обращаться к врачу. И для Арнаута Каталана место нашлось, как для малой домашней собачки. Держали его, пригревшегося, прикормившегося, больше для развлечения, чем для чего-либо иного, ибо ни к какой сколько-нибудь серьезной работе он был непригоден.

***

И вот новая напасть: оставив Тулузу, двинулся на Каркассон Амори де Монфор. Едва прибыв в город, Амори тотчас стал лютовать: кого только подозревал в содействии врагам своего отца, хватал и предавал казни; особенно же ополчался он на проповедников и "совершенных", ненавидя их всей душой. Только тем все было нипочем: приходили в город к нуждающимся в утешении и наставлении, будто и не было здесь никакого Амори де Монфора. Что им угроза смерти? Ничего не страшились, а с земной оболочкой расставались как с постылым бременем, когда наставал их час.

***

А Каталану дом Сейссака казался твердыней; какие бы страшные дела ни творились в городе, здесь всегда было тепло, сытно, многолюдно. Обитатели дома сменялись. Одни уходили, другие приходили, но всех связывала общая ненависть к католикам-папистам, отчего любой пришелец сразу делался как бы родным.

Каталан же стремился и вовсе не покидать стен. Пособлял на кухне, как умел, тешил своего господина песнями, а стряпуху – кое-чем иным, и был счастлив.

И вот случилось так, что один из соратников Сейссака привел в этот дом двух "совершенных", которые проникли в город почти совсем не таясь, – в черных плащах, с сумой, где хранили Священное Писание на провансальском языке и корку хлеба, – больше у них при себе ничего не было.

Когда узнал об новых гостях Каталан – весь затрясся от любопытства и радости. Не забыл еще Эркенбальда из Сен-Мишеля, того, что одним упоминанием Господнего имени, не прикасаясь даже пальцем, умертвил мышку. Ибо если что и могло повергнуть Каталана в восхищение, так это чудеса, а их катарские проповедники творили охотно и щедро.

Однако "совершенные" были настолько изнурены долгим путем по стране, разоряемой нашествием, что поначалу ни о каких поучениях и чудесах и речи быть не могло. Святых людей сразу увели в лучшие покои, а всем прочим запретили их тревожить. Только слуги то и дело вбегали туда, внося то тюфяки со свежей соломой, то сухие, подогретые у печи одеяла, то котел с горячей водой для питья, то в корзине самый лучший свежий хлеб, какой только отыскался на кухне, – утренней выпечки. Выходили же слуги от "совершенных" с просветленными, даже как будто поглупевшими от изумления лицами.

И хоть несколько дней после прибытия "совершенные" из комнаты не показывались, проводя время в постоянной молитве, и ничего особенного, вроде бы, не происходило, дом Сейссака как-то вдруг наполнился неким потаенным праздником, так что в конце концов радость охватила даже самого последнего из домчадцев.

***

Проповедника звали Госелин. Он оказался еще старше и вместе с тем, крепче, чем Эркенбальд, – такой же иссушенный

пыльными ветрами, просмоленный смолами дерев, меж которых уединенно жил в лесах, прокаленный солнцем Юга, плоть от плоти суровых скал, где неколебимо стоят, насмехаясь над чужаками-франками, старинные родовые гнезда лангедокских баронов.

Многие из собравшихся в тот вечер у Сейссака знали этого Госелина и при его появлении опустились на колени, испрашивая себе благословения. И Каталан преклонил колени среди прочих, заранее трепеща в ожидании.

Благословив собравшихся, Госелин подал Священное Писание Пейре де Сейссаку и попросил почитать по-провансальски – ибо католики желают утаить от христиан подлинное содержание Божественного Откровения и не позволяют мирянам перекладывать его на свой язык. У Госелина было слабое зрение; оттого и просил он Сейссака о таком одолжении.

Покраснев от счастья, начал Сейссак читать. И снова Каталан, слушая, дивился: сколь просто и торжественно, оказывается, то, что у попов звучит так скучно и вымученно!

Посреди чтения Госелин оборвал, сказав: "Довольно" – и Каталан вздрогнул, будто его разбудили.

А Госелин поднялся со своего места – во главе длинного пиршественного стола, где нынче не стояло ничего, кроме множества горящих свечей, – и начал говорить. И полсотни лиц обратились к нему с надеждой: и белые лица дам, и загорелые – простолюдинов, и суровые – воинов, и глуповатые – прислуги, и хмурые – стариков, и одна чрезвычайно любопытная физиономия – Арнаута Каталана.

И учил Госелин тому, что Бог ветхозаветный есть злой Бог, подверженный вспышкам необузданной ярости, ревнивый и мстительный; и тому, что Иисус Христос, Дева Мария и Иоанн Креститель низошли с небес и никогда не имели земной плоти; ели же и пили вместе с людьми только для вида, чтобы не вводить в смущение человеков.

И еще говорил Госелин, что любое соитие мужчины с женщиной ведет к погибели обоих. Велика католическая ложь, объявившая брак таинством! Жены наши суть наложницы наши, и совокупление с ними – не что иное, как прелюбодеяние.

И вот как это доказывается.

Открыл Госелин книгу Священного Писания – она сама будто под его руками раскрылась – и указал Сейссаку то место, которое надлежало прочесть громко.

И прочел Сейссак:

– "Адам сказал Богу: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?

Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела…

Жене сказал Господь Бог: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей! Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя! В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься".

– Да, воистину: прах ты и во прах возвратишься, – тихо проговорил Госелин, когда Сейссак закрыл книгу. – Жена ввергла человека в грех, и злой ветхозаветный Бог наложил на род людской свою яростную руку и заточил душу в греховное, страдающее тело. Так каким же образом союз с женой может быть благословенным? Вы скажете: церковь благословляет брак! – говорил Госелин, и голос его постепенно набирал силу. – Вы скажете: нас учили, что брачное состояние столь же угодно Богу, как девственное! А я говорю вам сегодня: сие ложь, ведущая к погибели! Дети, прошу вас, умоляю: слушайте! – Госелин обвел собравшихся большими глазами, в которых сверкали слезы. – Слушайте меня! Давно минули те времена, когда истинная благодать Господня была с католической церковью. С тех пор она обросла жиром, отягчилась златом – а всего этого не знала в первые годы! Прелаты ее – не прелаты, а Пилаты! Ее так называемые богослужения – бессмыслица; в лучшем случае – пустое времяпрепровождение, но куда чаще – дьяволопоклонничество! Как же может она, эта предавшаяся врагу церковь, решать: что проклято, а что благословенно?

И простер руки Госелин, и благословил лежащие перед ним хлебы, сказав:

– Вкушайте хлебы знания и да будут между вами любовь и братство, и да низойдет на вас благодать Господа нашего! – И добавил звенящим от слез голосом: – Дух Святый, Утешитель, утешь нас!

И тотчас сгусток света загорелся у него над головой, заметался, становясь все больше – и все увидели маленького серебряного голубя. Птица опустилась на хлебы и спустя миг исчезла. Теперь сами хлебы источали яркое серебряное сияние. И две дорожки слез на щеках Госелина, и новые слезы, дрожащие на ресницах, – заиграли всеми цветами радуги, как роса на рассвете.

При виде чуда ощутил Каталан, как все внутри словно бы обрывается и взмывает, увлекая вверх, в горние выси, и душу, и бренное тело…

И еще захлестнула его ненасытная жадность: знал, что захочет снова и снова видеть чудеса, что пойдет ради них за "совершенным" на край света, лишь бы только опять испытать

этот полет освобождаемой души.

И многие в том зале испытывали то же самое, ибо чудо – как вино: пристрастившись, человек уже без него не живет, а прозябает.

И ел Каталан сияющий хлеб и целовал каменный пол там, где коснулась плит нога "совершенного" и, истомленный восторгом, заснул на кухне уже под утро, когда звезды медленно гасли на светлеющем небосклоне.

***

Едва только смежил веки Каталан, как загремело вокруг дома Сейссака оружие.

Амори! В дверь латной рукавицей постучал – открыть потребовал, а когда за дверью замешкались, сам вошел, без позволения. Ни возмущенные крики, ни оправдания не остановили франка; он не беседовать сюда пришел – карать.

Десяток лучников с ним и еще полторы дюжины воинов – все в кольчугах, с оружием.

Глухи были к речам, нечувствительны к слезам, а когда иные слуги Сейссака взялись за оружие, тотчас перебили смутьянов.

Ой-ой! Опять схватили Каталана злые вороги! Почему только не дадут ему жить как хочется – сытно да весело? За что гонит судьба бедного фигляра? Едва только найдет он себе господина, едва только сядет при ком-нибудь, как немедля по воле рока все рушится!

Ой-ой! И как больно сделали опять Каталану, ударив его сапогом по брюху – по мягкому брюху, набитому ветчинной колбаской, соленым сыром, светлым винцом и тремя ломтями хлеба!

Закричал Каталан, запричитал, на спину перекатился, колени к груди подтянул, лицо от побоев руками закрыл.

И не стал больше бить его франк, только руки ему связал и подтолкнув к прочим, на колени поставил. От горя ослеп Каталан, плохо видит вокруг.

И вот выходит из разоренного дома Амори де Монфор, широкое лицо покраснело от гнева, светлые волосы растрепаны, губа закушена.

Стремительно подходит к пленным, оглядывает – как скотину, бегло, ни на ком не задерживаясь взглядом – и, повернувшись к своим франкам, что-то говорит им на северном наречии.

И доносится до Каталана громкий голос "совершенного" –

Госелина:

– Дети Господни! Мужайтесь.

***

Ничего, ничего из тех страшных дней толком не запало в память Каталана, ничего не ухватил его помутненный рассудок; одно только и сознавалось: было Каталану очень хорошо, а стало – хуже не бывает. Бить его больше не били, и на том спасибо. По правде сказать, вразумлять Каталана, чтоб смирно себя вел, и не потребовалось. Ослабел настолько, что безвольно мотался в руках белобрысых франков, пока те тащили его куда-то.

А там, куда его притащили, – скопление народу, как в воскресный день на площади, только все у Каталана перед глазами сливалось. Вот он и запел, думая таким образом выпросить себе какой-нибудь милости:

На полпути к стране Вавилону
Стоит, почтенные мои, бык печеный,
А в жопе у него – чеснок толченый…

Только никто не засмеялся, никто даже малой монетки ему не бросил; огрели по спине – ну, Каталан и замолчал. А попов-то вокруг видимо-невидимо – разглядел наконец! Залепетал, смущенный:

– Ой, простите, почтенные, ой, простите, недостойного…

И стали его спрашивать, а ответы записывать.

Правда ли то, что этот фигляр, Арнаут Каталан, жил в доме Пейре Рожьера де Сейссака, где хранились припасы для потаенных еретических общин? Правда ли, что сходились в том доме для проповедей злокозненной ереси? Правда ли, что скрывались там враги Монфора?

И кивал Каталан, ополоумев от смертной тоски: все, все правда…

И слушал он, Арнаут Каталан, поучения еретические, и вставал перед "совершенными" на колени, и принимал от них благословение, и участвовал в их нечестивых обрядах, и ел освященный ими хлеб?

Да, да, было, было такое…

И сказал один из прелатов – не тот, что задавал вопросы, и не тот, что ответы записывал, – другой:

– Что же ты такое сотворил над своей душой, Арнаут, прозываемый Каталаном?

И пробормотал Каталан, плохо понимая, что говорит:

– Госелин обольстил меня, вот я и ел…

И ничего больше не стали спрашивать у Каталана, а кару присудили ему наравне со всеми остальными взятыми в доме Сейссака, дабы спасти от его души хотя бы ту малость, которую еще можно спасти. Ибо погряз Каталан во грехе, весь замарался, так что и прикоснуться к нему теперь страшно.

И онемел Каталан, сковал ему ужас уста. Всего-то хотел одного: угодить. И гляди ты: одним угодил, других рассердил, и вот теперь посылают его за это на смерть.

И увели Каталана, и все смешалось и перепуталось в бедной голове фигляра: шумный, щедрый дом Сейссака, мрачное узилище, образы судей – будто смытые. И только одно непрестанно горело перед больным его внутренним взором: молодое, яростное лицо Амори де Монфора.

***

Вот так, шалея, со связанными руками, ослепленный утренним солнцем, оглушенный колокольным звоном, – звонили, казалось, за каждым поворотом все громче и громче – трясся Каталан в телеге вместе с остальными, числом в одиннадцать, и все гадал: скоро ли остановят, велят выходить и оборвут коротенькую Каталанову жизнь.

И правда – вскорости дернулась телега и остановилась. Осужденные друг на друга повалились, кучей, не разбирая: кто древнего рода, а кто и вовсе безродный. Что – уже?.. Приехали? И обмочился Каталан со страху.

А ничего не происходило, и почему телега остановилась, да еще тычком, пока что оставалось непонятно. Впрочем, Каталан, окончательно впав в ничтожество, и не тщился этого понять.

Потом расслышал, что франки переговариваются с кем-то, а стоявший рядом с Каталаном Госелин вдруг толкнул того плечом и выдохнул, опаляя ненавистью:

– Смотри! Ихний поп!

И словно пелена с глаз спала – стал Каталан смотреть и увидел: остановил франков какой-то человек обличья совсем невидного, одетый в бедное монашеское платье. На вид казался лет сорока с небольшим. Стоял перед телегой, расставив ноги в пыльных сандалиях, заложив ладони за пояс – какой там пояс, вервие лохматое! – откинув голову.

Франки окружили его, отгонять стали, он лишь улыбался и головой качал, будто знал что-то, чего эти франки пока не знали. Затем пергамент какой-то из-за пазухи вытащил, франкам

показал. Тогда те расступились, и монах приблизился к телеге. Каталан чувствовал, как Госелин рядом дрожит от ненависти.

А монах повернулся к франкам и сказал громко:

– Отпустите его.

Загалдели, загомонили франки – все разом, друг друга перебивая. Кого отпустить? Вон того? Закоренелого еретика? Богохульника? Заговорщика? Он во всем сознался! Сам сознался, добровольно! Он плевал на распятие, он склонялся перед совратителями католиков! Здесь невиновных нет, все в равной мере погибли.

Монах выслушал не перебивая, терпеливо, а когда замолчали наконец возмущенные франки, повторил как ни в чем не бывало:

– Отпустите его.

Боже, помоги нам всем, если лучшие Твои слуги сделались безумны! Как можно отпустить человека, чей путь – в геенну огненную, туда, где плач и скрежет зубовный? Он еретик! В нем нет ни капли сожаления о прегрешениях его и о том, что навек загубил он свою душу.

Но монах на это сказал только:

– Он раскается.

Раскается он, как же! Под страхом смерти не раскаялся – напротив, грехом похвалялся! Так что же он станет делать, отпущенный на свободу? Умоляли франки монаха одуматься и решение переменить. Тот засмеялся тихонько и опять головой покачал.

– Дивлюсь на ваше маловерие. Говорю вам: вижу яснее этого светлого дня, что этот человек раскается. Дайте ему спасти себя. Не решайте за того, кто сам может за себя решить.

И склонились франки перед монахом, пропуская его к самой телеге, и сказал тот, кто был между ними старшим:

– Забирай его и поступай с ним по своему усмотрению, святой отец.

Монах подошел к телеге и поднял лицо. Ясные его глаза остановились на Каталане.

– Иди сюда.

Каталан тупо уставился на монаха.

– Что… я? – переспросил Каталан, видя, что никто в телеге не двинулся.

И тут все стали бранить Каталана, толкать его, называть предателем, а Госелин плюнул ему в лицо. Каталан только шатался под тычками. Плевок сползал по его щеке.

– Ну, – повторил монах, – иди же сюда.

И Каталан кое-как пробрался к краю и неловко вывалился на мостовую, рухнув прямо к ногам монаха.

А когда он поднял голову, телега уже скрывалась за углом. И франков тоже не было. Только тот человек, монах, стоял рядом, поглядывал на Каталана непонятно. Потом наклонился, стал развязывать Каталану руки. Но Каталан дернулся, будто его обожгли, вывернулся, вскочил на ноги. От монаха шарахнулся, метнулся влево, вправо, дернул за спиной связанными запястьями, прокричал бессвязное – и бросился бежать.

***

Вечером того же дня Каталана можно было видеть мертвецки пьяным под стеной одного из каркассонских кабаков. Весть о случившемся уже гуляла по городу, переходя из уст в уста, и всяк спешил угостить Каталана, чтобы еще раз выслушать всю историю от начала и до самой неожиданной развязки. И Каталан рассказывал, плетя подробности, как корзину, и получалась у него корзина большая-пребольшая, кривобокая, с нелепо торчащими прутьями – ни на что не годная корзина, зато и ни на что не похожая. И пел Каталан песню за песней, и плакал на чьей-то груди, и смеялся кому-то в ухо, и чрезмерно пил красное вино, пока не пошел помочиться и не рухнул под стеной, заснув мгновенно.

И спящего Каталана никто не решался тревожить и пока он валялся под стеной, сильно вздрагивая во сне, многие приходили и дивились на него, говоря друг другу:

– Это тот раскаявшийся еретик, что по благословению отца Доминика де Гусмана уже находится на пути к спасению.

Глава шестая
АРНАУТ КАТАЛАН СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

Вы, может быть, думаете, будто после столь знаменательного спасения из когтей смерти Арнаут Каталан и впрямь обратился на путь добродетели, как уверенно предрекал Доминик де Гусман?

Ничуть не бывало.

Едва протрезвев, Каталан спешно покинул город, мечтая не попадаться на глаза ни франкам, ни катарам, ни тем добрым жителям Каркассона, которые потчевали его накануне и которым он наврал про себя с три короба.

И бродяжил с того дня по Лангедоку с таким расчетом, чтобы ни в коем случае в Каркассон не заходить. Даже к окрестностям приближаться – и то остерегался.

И таким образом очутился Каталан в городе Монпелье, где назойливо пахло рыбой, а больше ничего примечательного, на его взгляд, не имелось. Поначалу вертелся в порту, где всяк занят своим делом и на Каталана никакого внимания не обращал; но затем, уличенный в попытке украсть из корзин рыбу, бежал оттуда Каталан не солоно хлебавши. И зная за собой неудачливость, удрал он от порта подальше и в конце концов забрался на старый акведук, сел там, свесив ноги, и залился горькими слезами.

Так он привычно горевал, вздыхал, то и дело подолом рубахи лицо обтирая, – а время шло. Солнце припекало, птички – чтоб их разорвало – беспечно чирикали, ни дуновения ветерка не доносилось, ни малейшего сочувствия никто к Каталану не испытывал.

И вот остановился рядом с акведуком какой-то человек и заговорил.

– Сколь удивительно, что такое древнее сооружение сохранилось до сих пор, не правда ли?

Каталан подавился слезами, сверху вниз на человека того посмотрел. Были у него длинные вьющиеся волосы, совершенно седые, и длинная белая борода, одет он был богато и вместе с тем не пестро и не ярко, был осанист и медлителен в движениях – словом, и выглядел, и держался как ученый иудей, каковым на самом деле и являлся, а звали его мастер Менахем.

Каталан отвечал иудею уныло, что менее всего заботит его древность этого акведука, а если народы, построившие эту штуку,

вымерли, значит, неугодны были они Господу. Разговаривая столь невежливо, думал Каталан, что ученый иудей пойдет своей дорогой, а его, Каталана, оставит в покое.

Но просчитался. Сказал ему мастер Менахем:

– Вижу я, что не головой ты сейчас думаешь, а своим голодным брюхом.

– Это верно, – не стал отпираться Каталан. – Все красоты земные, кажется, променял бы сейчас на добрый ломоть хлеба и кус жареного мяса.

– Кто ты и как тебя зовут? – спросил его ученый иудей.

На такой вопрос Каталан отвечал:

– Я Арнаут Каталан,

Без вина вечно пьян,

Без вины виноват,

Только бедами и богат!

Чем-то глянулся мастеру Менахему такой ответ.

– Если хочешь, – сказал он, – можешь пойти со мной.

Мастер Менахем оказался лекарем. Да каким! Ученым-преученым. Целил не так, как те костоправы да зубодеры, что во множестве встречались на жизненном пути Каталана, – нет! Те хорошо если зуб вырвут, челюсть не своротив, кровь пустят да не всю выпустят; а мастер Менахем все это делал по науке. И в доме, куда привел он Каталана, таинственно пахло разными снадобьями.

Первым делом уселся Каталан за стол и как следует набил себе брюхо – чтобы ничего из своей выгоды не упустить на тот случай, если не угодит чем-либо иудею, и тот его выгонит.

Но все сложилось как нельзя удачнее: нанял Каталана мастер Менахем в услужение, обещав вместо платы хорошо кормить.

И снова началось доброе житье у Каталана, на сей раз при хозяине столь диковинном, что и самому подчас не верилось.

Лечил этот лекарь и бедных, и богатых. Впрочем, бедные к нему почти не обращались – иные такого лекаря страшились пуще самой болезни, подозревая иудея в колдовстве. Богатые же, подобного страха не ведая, прибегали к услугам мастера Менахема весьма охотно и оплачивали его труды весьма щедро. Нетрудно догадаться, что при таком обороте дела у мастера Менахема шли превосходно.

Многому научился у премудрого иудея Каталан, быстро сообразив, что подобная наука ловкому человеку всегда впрок. А мастер Менахем и не думал что-либо таить от своего нового помощника, все ему рассказывал, о чем бы тот ни спросил. И узнал таким образом Каталан, что при вредительской мокрости в груди и одышливом кашле помогает питье с имбирем, корицей и

перцем. Тот же имбирь, но с компонентами тмина, гвоздики, корицы и двух разных видов перца (но не таких, как при кашле) хорош при вздутии внутренностей и злом ворчании кишок. А скажем при дрожании в конечностях лучше всего масло коричное. Что до перца черного, то несть числа его достоинствам: согревает он нервы, размягчает отвердевшие мышцы, облегчает боли в груди, очищает легкие от помянутой вредительской мокрости. Корица же употребляется в разных сочетаниях при параличе, подагре, малярии, рвоте, неостановимом кашле, а также от лишаев и всяких язв. Предивное растение мускат, в больших дозах ядовитое, в малых же – целительное при головной боли, кровохаркании, трудном дыхании и болезнях желудка.

Все это и многое другое постепенно вложил мастер Менахем в разверстую память Каталана, а когда тот переспрашивал, не ленился повторять.

И вот однажды спросил Каталан своего хозяина, зачем он так поступает.

– Дивлюсь на простодушие ваше, господин мой, – молвил Каталан. – Говорят об иудеях, будто все вы лукавы и злы, а если и показываете доброту, то из одного лишь притворства. Однако же я живу при вас почти целый год, а зла никакого за вами еще не приметил. Напротив, странным мне кажется, что вы так охотно открываете передо мной все секреты своего ремесла.

Мастер Менахем, по своему обыкновению, посмеялся в бороду.

– Вижу тебя насквозь, Каталан, – сказал ученый иудей. – Пройдоха ты, каких еще свет не видывал, ловкач с болтливым языком и вечно алчущим желудком. Глянулся ты мне тогда, на акведуке, вот и взял к себе, а когда понял, каков ты на самом деле, – пожалел выгонять. Сердце-то у тебя доброе.

– Сердце молчит, когда плачет желудок,

Голод подчас изгоняет рассудок, – не стал отпираться Каталан, ибо иудей говорил о нем чистую правду. – А вы, господин мой, и впрямь видите меня насквозь, хоть это и обидно.

Мастер Менахем махнул рукой.

– Обиды тут никакой нет. Да и кто мешает тебе, Каталан, видеть насквозь меня?

Каталан озадаченно заморгал, чем вызвал у своего хозяина новый смешок.

– Итак, – завершил разговор мастер Менахем, – зная, что ты пройдоха и прозревая в тебе доброе сердце, я понял: рано или поздно уйдя от меня, возьмешься ты за лекарское ремесло. Сострадание ли толкнет тебя к этому, жажда ли наживы – не ведаю. Но лучше уж я потеряю часть моих доходов, чем стану

виновником смертей, которые могут проистечь от твоего невежества.

Таков был мастер Менахем.

***

В другой раз Каталан спросил:

– Господин мой, как это вам удается столь быстро разгадывать людей, проникая в их мысли? Нет ли здесь колдовства?

И снова смеялся ученый иудей, а Каталан чувствовал себя дураком.

– Колдовства здесь никакого нет, – ответил наконец мастер Менахем. – А есть одна только житейская опытность и премудрость арабских мудрецов, которая заключена в некоторых трактатах, вроде "Книги вразумления начаткам науки о звездах", которые мне доводилось изучать. Пользуясь этими знаниями, я умножаю их на то, что успел узнать о людях за долгие годы моей жизни. Вот почему я почти никогда не ошибаюсь.

Глаза Каталана разгорелись.

– Уделите мне хотя бы малую толику от этих превосходных "Вразумлений", господин мой! – взмолился он. – Ибо меня весьма тяготит сознание моего дремучего невежества.

Но на этот раз мастер Менахем лишь погрозил Каталану пальцем, не переставая, впрочем, посмеиваться.

– Нет, нет, Каталан! Не на пользу пойдет тебе такое учение.

– Отчего же? – в запальчивости вскинулся Каталан. – Разве не вы сами говорили, господин мой, что сердце у меня доброе?

– Так-то оно так, но ведь и ты признавался, что сердце молчит, когда плачет желудок.

– Ох, лучше бы мне лишиться моего болтливого языка! – пригорюнился Каталан. – И зачем я только признался вам в этой правде!

– Да я и сам эту правду знал, без твоего признания, – утешил его мастер Менахем. – Не плачь, Каталан, не печалься, веселый жулик. Кое-что из "Начатков" я тебе, пожалуй, все-таки расскажу.

Тут Каталан сразу приободрился, слезы у него высохли сами собой. Приготовился слушать и запоминать.

– Есть один человек, хорошее знание которого не только не повредит ему, но и послужит к великой пользе, – начал мастер Менахем. – И этот человек – ты сам, Арнаут Каталан.

После такого многообещающего начала вот что поведал Каталану его добрый и ученый хозяин.

Едва лишь увидел он Каталана сидящим на римском акведуке и оплакивающим свою несчастную долю, как тотчас же мысленно определил время его рождения и главенствующие над ним планеты. Ибо многие арабские и еврейские мудрецы советуют при выборе жен и слуг непременно справляться о времени их рождения и в зависимости от расположения звезд делать выводы о пригодности человека к той или иной жизненной роли. Искусный астролог умеет, кроме того, прикидывать гороскоп на глазок и почти никогда не ошибается.

– Это удивительное, а главное – чрезвычайно полезное умение, – с волнением сказал Каталан. – Ибо, признаться честно, господин, я и сам не знаю времени моего рождения.

– Ты родился поздней осенью, – уверенно молвил мастер Менахем. – И чем больше я смотрю на тебя, тем более убеждаюсь в правильности моей первой догадки. Мудрейший Абу Райхан Беруни говорит о таких, как ты: "По природе великодушен, беспокоен, лукав, ленив, склонен к самопожертвованию, храбр и глуп".

Каталан поначалу захотел обидеться, но вовремя спохватился: в таком случае он больше не узнает от мастера Менахема ничего полезного, а в том, что этот иудей – настоящий кладезь самых разнообразных премудростей, у Каталана был уже не один случай убедиться. И потому он смолчал, смиренно потупив ресницы. В конце концов, мастер Менахем – не первый, кто называет его дураком и, надо думать, не без оснований.

– Многое поведала мне твоя внешность, – продолжал между тем мастер Менахем, щурясь с еле заметной светлой насмешкой над притихшим Каталаном. – Правда, арабские физиогномисты составляли свои трактаты исходя из характерных лиц сарацинской расы, но кое-что из этих знаний применимо и к франкам-христианам. Так, могу сказать тебе, каким образом я догадался о времени твоего рождения.

Каталан смиренно попросил не утаивать от него подобных важнейших сведений. Мастер Менахем назвал ему несколько примет, из которых главнейшие – длинные руки и ноги, широкие костлявые плечи, маленькие глаза, грубые волосы и большое брюхо.

– Ну уж брюхо-то у меня, положим, тогда к спине прилипало, – не выдержал Каталан. Даже надулся и не удержался – слегка кольнул хозяина: – Да и теперь, по правде сказать, не чрезмерно выпирает.

– Это потому, что питаешься ты умеренно и не выходишь за пределы соразмерного возрасту и полезного для здоровья, – невозмутимо отвечал мастер Менахем. – Болезни же, которым

подвержены люди, подобные тебе, суть: глухота, проказа, чесотка, задержания мочи, а также всякого рода горячки.

От таких речей Каталан заметно приуныл. Но мастер Менахем этого как будто даже не заметил – увлекся.

Прежде ему приходилось читать лекции в университете Монпелье, а впоследствии – в училище Иудейской коллегии, которое посещало, кроме евреев, некоторое число христиан. В последние годы ни астрологию, ни философию в Монпелье не читали, и круг ученых занятий мастера Менахема свелся к одной лишь медицине.

– Если же ты хочешь преуспеть, Каталан, – продолжал мастер Менахем, – то должен действовать также сообразно тому, как звезды стоят в твоем гороскопе. Альбогазен рекомендует всем рожденным поздней осенью посвятить себя одному из следующих искусств: изготовлению и продаже оружия, ремеслу кузнеца, конюха, мясника, врача или ветеринара…

– Что такое ветеринар? – озабоченно спросил Каталан, за последние несколько минут твердо решивший стать мудрым и, таким образом, преуспеть.

– Человек, который лечит не людей, а животных.

Каталан дивился все больше.

– Но господин мой! Все это презренные занятия, низменные и мало почитаемые. Вы еще скажите, что я могу преуспеть, став банщиком! Неужто человек, занимающийся холощением быков, когда-нибудь займет высокое положение в обществе?

– Преуспевает тот, кто занимает в жизни свое место и не рвется на чужое, – назидательно отвечал мастер Менахем. – Ибо первый может не опасаться за себя, а второй рискует быть сброшенным слишком низко. Кроме того, отнюдь не все подходящие для тебя ремесла столь малопочтенны. Если ты станешь торговцем, то запомни: наилучший товар для тебя – охотничьи псы, а также медь, железо, сельскохозяйственные орудия, вино, стекло, сундуки и деревянные кубки.

Это окончательно сбило Каталана с толку и он возопил жалобным голосом:

– Где же мне взять все эти сундуки, деревянные кубки и охотничьих псов для торговли?

Мастер Менахем засмеялся.

– А еще, говорит Альбогазен, рожденные на исходе осени, удачливы в кражах со взломом, разбое на дорогах, ограблении могил, и им подходит ремесло тюремщика и палача.

– Ой-ой! – закричал Каталан. – Вижу я теперь, господин мой, что вы взялись дурачить меня, бедного, когда я и без ваших дурачеств полный болван, как есть с головы до ног!

– Вовсе нет, – возразил мастер Менахем. – Я говорю с тобой вполне серьезно. Ибо Абу Райхан Беруни также говорит о таких, как ты: "Се – палач с Кораном в сердце".

– Неправда! – горячо сказал Каталан. – Ибо не палач я вовсе, а лицедей, глумослов и фигляр! И в сердце моем вовсе нет никакого Корана, ибо не магометанин я и никогда им не был, а даст Бог – и не буду!

– Это так, не магометанин ты, – согласился мастер Менахем. – Но скажи вместо "Коран" – "Закон Господень". Подумай о том законе, которому ты повинуешься, франк.

Каталан честно сказал "Закон Господень" и принялся думать о Священном Писании. Весь напрягся, натужился, аж глаза на лоб выпучились, а лицо побагровело. Но мысли Каталана, как на грех, ни за что не хотели принимать нужное направление, а воображение разыгралось – хуже некуда. То Ильдегонда вдруг представится – в бочке с жидким дерьмом, злющая-презлющая; то поп пьяноватенький из той церкви, куда в детстве Каталана водили; то Госелин, ему, Каталану, в лицо плюющий… Нет, ничего путного в голову не идет, хоть ты тут пополам разорвись!

И признал наконец Каталан:

– Боюсь, господин мой, одному только закону я и послушен, никогда его не преступая, – тому, что скорейшим путем ведет меня к сытости.

Мастер Менахем махнул рукой.

– Все успеет измениться, когда ты войдешь в лета. Ты еще очень молод, сын мой. Меня уж на свете не будет, когда исполнится то, о чем говорю тебе сегодня.

– Да не хочу я! – воскликнул Каталан. Даже губу нижнюю оттопырил. – Ну что это такое – "палач" да еще "с Евангелием в сердце"?

– Настанет время – узнаешь, – сказал мастер Менахем, прикрыв глаза и покивав головой для убедительности.

И поскольку вконец огорченный Каталан больше не перебивал, принялся ученый иудей вовсю рассказывать о свойствах различных планет, об их соотношении с теми или иными земными явлениями, о влиянии их на судьбу человека и о прочем, столь же глубинном и страшном. При этом мастер Менахем совершенно забыл о своем первоначальном намерении не посвящать Каталана во все эти столь не подходящие для его легкомысленного нрава тайны.

И разглагольствовал мастер Менахем невозбранно, наслаждаясь плавно льющейся с уст на бороду и с бороды – в эфир премудростью, а Каталан, сидя в углу, внимал молча и смиренно.

И поведал мастер Менахем о том, что все религии земные подчинены также влияниям различных звезд. Так, под покровительством Сатурна пребывают евреи и одетые в черное; Юпитера – христиане и одетые в белое; Марса – идолопоклонники и одетые в красное; Венеры – магометане; Меркурий же как планета непостоянная указывает на людей, склонных спорить обо всех религиях, но не следовать ни одной.

Таким образом, катары, которых немало в Монпелье, как и евреи, относятся к сфере влияния Сатурна, ибо являются одетыми в черное…

– Однако, – продолжал мастер Менахем, – все это довольно отвлеченные знания, обогащающие память тех, кто любит мудрость ради мудрости и иссушающие рассудок тех, кому нужны лишь путеводительные советы в жизни. Посему добавлю несколько наставлений, почерпнутых из трактата Абрахама бен Эзры "Начатки мудрости". Говорит мудрый бен Эзра о таких, как ты: "Буквы его – тэс и син, а годы его – пятнадцать и таковы же его месяцы, дни же его – тридцать семь с половиной, а периоды его – четыре"…

Тут мастер Менахем заметил, что за окнами совсем стемнело, а Арнаут Каталан, утомленный чрезмерным количеством извергнутой на него премудрости, мирно спит в своем углу.

Остановился мастер Менахем, в замешательстве погладил свою седую бороду, поглядел на спящего – сперва гневно, потом насмешливо и, наконец, с умилением. Рассмеялся тихонько и молвил сам себе:

– Воистину, я – глупец! Не всякое учение впрок, и толку в астрологии совсем немного.

***

В трудах и полезных беседах, подобных описанной выше, проходило время. Каталан успел привязаться к своему хозяину-иудею, которого искренне любил за сытную кормежку, слепоту к мелким кражам прислуги, мудрость и доброту к людям. Минуло года три с тех пор, как Каталан чудом избежал жестокой смерти. Уже казалось, будто уготована Каталану долгая мирная жизнь в Монпелье, как вдруг господин его умер.

Случилось это совершенно неожиданно – и для Каталана и уж тем более для самого мастера Менахема.

Как-то утром явился Каталан в хозяйскую опочивальню – медная чаша для умывания в руках, вычищенное господское платье через плечо, – а мастер Менахем лежит в постели

неподвижно, лицо красное, глаза приоткрыты, из ноздрей вытекла кровь, волосы и борода будто приклеены – так не лепилось их всегдашнее благообразие к нынешнему непотребному облику иудея.

С перепугу выронил Каталан чашу, ногу себе ушиб, водой весь пол залил. Прихрамывая, к хозяину подошел, лба коснулся. Нет, мертв, уж и холодеть начал. Поскорее отдернул руку от трупа, крестом себя медленно осенил, а после, поднеся пальцы к глазам, долго рассматривал их, говоря:

– Глупые вы, пальцы! За кого крестное знамение творите? За иудея! Его народ Иисуса Христа распял!

А пальцы задвигались и так сказали Каталану:

– Сам ты глупый, Каталан!

Это мизинец пропищал.

А безымянный тенорком поддакнул:

– Сколько раз обмакивал ты меня в тесто на кухне у доброго твоего господина, когда там пекли пироги!

Средний же палец молвил сурово:

– Бранишь иудеев, Каталан, что Христа они распяли! Давно они распяли Его! И было то лишь однажды. Вы же, именующие себя христианами, но живущие в грязи и пороке, распинаете Его всякий день, чиня свои непотребства!

Указательный палец ткнул в Каталана и заверещал пронзительно:

– Ты ел хлеб этого человека, а теперь его же и бранишь, а ведь за все эти годы не видел от него ничего дурного! Кто подобрал тебя, когда был ты сир и голоден? Кто тебя, неблагодарного, приютил? Кто тебя, неуча, просвещал?

И тут сами собою сложились пальцы в пренеприличнейшую фигу, и большой палец, просунув между средним и указательным ехидную морду, рявкнул:

– Ты дурак, Каталан! Вот дурак так дурак! Тьфу! Бери поскорее драгоценные пряности, что господин твой в ларце прячет, и уноси отсюда ноги, пока никто еще не расчухал, что ученый иудей помер!

– Вот это – дельный совет! – похвалил Каталан. Разжал фигу и поцеловал покойного в лоб, закрыл ему глаза, а после подхватил с полки деревянный ларец, обернул его плащом и, оставляя за собою мокрые следы, спешно спустился по лестнице.

***

Побережье сделалось, таким образом, для Каталана весьма неблагоприятным, и потому постарался он устроить так, чтобы странствия увели его подальше, в глубь страны, и в конце концов оказался Каталан в Тулузе.

Тулуза стояла ободранная, в пятнах пустырей, в ожогах пожарищ, едва прикрывающая свою наготу насыпями и палисадами. Оголодавшие, разоренные нашествиями жители, многие из которых по привычке не расставались с оружием, понемногу залечивали раны прекрасной мятежной Тулузы. Оживала торговля, кое-где уже начали стучать молотки сапожников, чеканы медников, зажужжали колеса прялок. Не такой здесь народ, чтобы впустую просиживать без дела.

Бельмом на глазу у Тулузы – монастырь святого Романа, основанный Домиником де Гусманом. Какое там – бельмом! Занозой в сердце, вражеским соглядатаем в военном стане, вороной среди голубей, чужаком в семье единомышленников!

Впрочем, Каталана эти подробности не занимали. Главное – город снова начал оживать, а значит – продавать и покупать. А только этого Каталану и надобно. Когда идет война, люди почему-то не хворают. Но вот настает мир, и тут же оживляются сборщики налогов и всевозможные болезни.

А лекарь тут как тут! Чего изволите?

Есть настой из горьких трав,
Из арабских из приправ,
От дрожанья во удех
Есть корица и орех,
Если разболелись зубы,
Если боль вас жжет и губит,
Есть целебная гвоздика,
Есть мускат и базилика.
А при рвоте, при икоте,
При удушливой мокроте
Есть корица и имбирь,
Перец есть и рыбий жир.
Если вздулся вдруг живот,
Цвет муската подойдет.
Очень важен перец черный:
Он целит и нос, и горло,
И от хворей селезенки,
И от недугов печенки.
Вот прекрасный кардамон,
От глистов полезен он…

‘Так выкликал свой украденный у мастера Менахема товар хитроумный Арнаут Каталан, зная, что никогда не переводятся в Лангедоке любопытные и расточительные люди.

Покупали у Каталана и порошок из малого количества мускатного ореха, гвоздики и весьма щедрой доли перца – для долгого хранения мяса; и гвоздичное масло – для успокоения боли, и иные пряности и лекарства. А после того, как Каталан, сам не ведая как вылечил кашлявшую женщину, от покупателей и вовсе отбою не стало. Так что в самое короткое время Каталан даже разбогател.

Поселился в доме торговой коллегии, на втором этаже, окружил себя роскошью. Каждый день обедал на двадцать четыре денария и вообще вел себя расточительно.

И вот как-то поздно вечером, вволю натешившись с услужливой девушкой, которую кликали запросто Багасса, что и означает "Потаскушка", лежал Каталан у себя в комнате на мягкой постели. Девушка уже спала. Ее волосы светлым пятном выделялись на темных покрывалах. Каталана тоже клонило в сон, но едва он смежил веки, как услышал: кто-то тихонько отворяет дверь.

– Какого черта! – рассердился Каталан. Приподнялся на локте, вгляделся.

В комнате действительно кто-то был. Стоял у входа неподвижно, молчал. Каталан не видел его, но чувствовал на себе пристальный взгляд незнакомца, и от этого взгляда делалось нашему лекарю, прямо скажем, не по себе.

– Эй, – тихонько позвал наконец Каталан, не желая поддаваться постыдному страху.

– Ты Арнаут, прозываемый Каталан? – откликнулся пришелец. Голос был спокойный, и недостойный испуг тотчас же оставил Каталана.

– Да, именно так меня называют, – молвил он не без надменности. – Какая надоба привела тебя, что ты не побоялся потревожить меня в столь неподходящий час?

Ибо Каталан решил, что к нему явились ради медицинских его познаний.

Человек не ответил. Вместо того он отыскал и зажег свечу и с горящей свечой в руке приблизился к Каталану. И увидел Каталан, что это тот самый монах, Доминик де Гусман, который некогда избавил его от плачевной участи быть казненным за ересь.

Оробел Каталан, даже губы у него онемели, как от сильного опьянения.

– Не капай здесь воском, поставь ее в поставец, – еле

выговорил он первое, что в голову пришло.

Доминик так и сделал. Комната наполнилась теплым золотистым светом. Каталан сидел на постели, свесив босые ноги, и тупо смотрел на Доминика. Девушка спала, слегка отвернув голову. Было очень тихо.

Доминик постарел, стал еще светлее, бесплотнее, что ли. Он выглядел усталым.

– Ну что, Каталан, – заговорил он негромко, – вот мы и встретились. Не забыл еще меня?

– Забудешь вас, пожалуй, господин мой, – проворчал Каталан.

– Все хотел спросить тебя: почему ты тогда убежал?

Доминик с любопытством смотрел на Каталана, готовясь улыбнуться.

– Не знаю я ничего, – с тяжким вздохом уронил Каталан. И спохватился: – Да вы садитесь, господин! Что вы стоите? Берите стул.

– Спасибо.

Доминик уселся на стул напротив Каталана.

– Так какая надобность привела вас? – начал приободрившийся Каталан.

– Ох, Каталан, ты, как я погляжу, все беспутничаешь! – проговорил Доминик. – Много ли грехов наворотил с тех пор, как я тебя со смертной телеги снял?

Каталан хотел отмолчаться, но мизинчик на левой руке вдруг пропищал:

– Много!

– Цыц! – зашипел Каталан и прищемил мизинчик ногтем большого пальца.

– Горе мне с тобой, Каталан, – сказал Доминик. – Я ведь за тебя поручился.

Тут Каталан, разъярясь, вскочил. Так разозлился он на Доминика, что даже страх свой позабыл.

– Да кто вас просил, господин, за меня ручаться? Кто вас за язык тянул?

– Никто, – согласился Доминик.

– Я живу, как хочу, – поуспокоился Каталан. – Кому это мешает?

– Тебе, – сказал Доминик.

Каталан запыхтел. А Доминик кивнул на постель:

– Что ты скачешь? Сядь. Поговорим мирно. Я ведь не драться к тебе пришел. И не кричи, не то весь дом перебудишь.

Каталан сел.

– Ну? – угрюмо спросил он.

Но Доминик теперь молчал.

Тогда Каталан поднял на него глаза и, набравшись духу, проговорил:

– Правду сказать, господин, многое я за эти годы слыхал, да только о вас никто слова доброго не молвил.

Доминик пожал плечами:

– Веришь ли, Каталан, ничуть ты меня не удивил. Вон гляди: тебя я от смерти избавил, а ты меня мало из дома не гонишь.

Он встал, подошел к постели и остановился, рассматривая спящую Багассу. Потом повернулся к Каталану.

– А это кто?

– Шлюха.

Доминик еще раз посмотрел на девушку.

– А что, мила она тебе, Каталан?

– Ну… – протянул Каталан. – Лучше многих будет. Я ей денег дал, а она притворяется, будто любит меня. Шлюха она, господин. Знаете такое слово?

– Слово знаю. Продажных женщин видел, – сказал Доминик. – Красивая девушка. Добрая, наверное.

– Жадная, – сказал Каталан.

Доминик отошел от спящей, снова на стул уселся.

– Чем промышляешь, Каталан?

– Лекарь я.

– Похвально, – одобрил Доминик.

У Каталана неожиданно вырвалось:

– Не нужно хвалить меня. Я делаю это ради корысти.

– Ладно, дело твое. У меня просьба к тебе, Каталан. Будь добр, зайди завтра в монастырь святого Романа и передай моим братьям, что я умер.

Каталан замер с раскрытым ртом. Потом переспросил (а у самого в животе все разом оборвалось от ужаса):

– Кто… умер?

– Я, – повторил Доминик.

Каталан помолчал немного. Потом пролепетал:

– Коли вы умерли, господин, то что же вы здесь-то делаете?

– Разговариваю с тобой.

– Ох, господин, я бедный шарлатан! Почему бы вам не оставить меня в покое? Зачем вы посылаете меня в Сен-Роман, да еще с таким известием? Неужели вам так трудно сходить туда, как вы пришли ко мне?

– Послушай, Арнаут Каталан, о какой малости я тебя прошу! Всего-то сходить на соседнюю улицу и передать моим братьям два слова: "Доминик умер". А ты и этого для меня сделать не хочешь!

– Хорошо, – пробормотал пристыженный Каталан.

Доминик встал, подвинул стул, направился к выходу.

– Господин! – позвал Каталан. Доминик повернулся. – А вы правда видели тогда, что я раскаюсь?

– Правда.

– Да я-то не раскаялся!

– Ох, не знаю я ничего, Каталан. Поступай как знаешь. Это ведь твоя жизнь, не моя. Прощай.

Легонько стукнула дверь. Заскрипели ступеньки. И настала тишина.

Каталан изо всех сил напрягал слух, но ничего не слышал. Доминик ушел.

– Черт бы тебя побрал, постный святоша! – заорал Каталан, не стесняясь. – Чума на тебя! Чума на твоих братьев! Будь ты проклят, Доминик! Что ты приперся? Кто тебя звал? Сдох – туда тебе и дорога! Мне-то что? Почему я должен переться в этот клятый Сен-Роман? Зачем это я стану разговаривать с твоими братьями, вшей на них считать? От них в городе шарахаются, как от прокаженных!

Он задул свечу, плюхнулся в постель, обнял теплую, мягкую Багассу и решил: "Никуда не пойду".

И в самом деле. Кто заставит его идти куда-то и говорить там то-то и то-то?

Никто не заставит.

Вот и хорошо.

Каталан закрыл глаза и заснул.

***

Проснулся он как от толчка. Было еще темно, едва серел рассвет. Сперва подумал о том, Каталан, что все это приснилось ему – и Доминик, и странный, глупый разговор… Но потом огляделся, и ему даже дурно сделалось от неприятного сосущего предчувствия. Нет, не приснилось. Доминик и в самом деле приходил. Вон, в поставце осталась оплывшая свеча. И дверь неплотно прикрыта. И стул отодвинут. А на столе лежит маленький молитвенник в потрепанном кожаном переплете.

Окончательно впав в дурное настроение, Каталан натянул штаны, набросил на плечи плащ, зябко ежась, взял в руки молитвенник. Машинально открыл. Тупо посмотрел на первый инициал – букву D, оплетенную лозами, в которых заблудились пастухи и овцы. Закрыл. Грязно выругался.

Девушка на постели пошевелилась, приоткрыла глаза.

– Ты куда, Каталан? Ты хочешь оставить меня одну?

– Спи, – сердито бросил Каталан. – Я скоро вернусь.

Город спал, таинственный и прекрасный в полумраке, как лицо незнакомой женщины. Безобразная стена монастыря преградила улицу. Каталан двинулся вдоль стены и вскоре остановился перед воротами.

Помедлил немного, а после постучал.

Сен-Роман спал, как и вся Тулуза. На стук никто не отзывался. Слепой от злобы, Каталан принялся яростно пинать ворота. Затем подобрал камень и, отойдя на несколько шагов, запустил камнем в створку. Наконец он заревел:

– Эй, вы! Чертовы святоши! Попы хреновы! Ублюдки! Долго мне тут еще стучать?

Он подождал еще немного, потом в последний раз врезал по воротам кулаком, повернулся и зашагал прочь.

И тут ворота открылись.

Каталан остановился.

– Это ты стучал? – спросил его кто-то, невидимый за створкой.

– Я, – буркнул Каталан.

Нехотя он вернулся к монстырю и уперся взглядом в невысокого заспанного человека.

– У тебя есть к нам какое-то дело? – спросил этот человек очень спокойно.

– Ага! – отозвался Каталан, оскалив зубы в нехорошей ухмылке. – Есть!

Заранее радовался: сейчас как огорошу их новостью! Ох, взвоют, небось, зарыдают, руками-ногами засучат, как узнают, что их возлюбленный Гусман наконец подох! Дивился злобе своей Каталан – но только краешком сознания, а сам просто трясся от восторга, предвкушая: сейчас вам будет, святые, в Бога, в душу, в мать!..

Открыл рот, чтобы проорать заранее заготовленное… и не смог проронить ни звука. Будто онемел. Слова-то оказались шире катало́новой глотки, вот и застряли, едва Каталана не задушив. Скрипнул что-то невнятное, а щуплый тот монах, который ворота ему открыл, испугался.

– Да у тебя удушье! Бедняга. Погоди, я тебе горячей воды дам!

И, подхватив Каталана, потащил его по двору к кухне, над которой уже поднимался дымок. Как слепой, брел Каталан, обвиснув на руках у монаха, глазами вокруг по привычке шарил, да только ничего не цеплял мутнеющий взор.

Очнулся уже на кухне, у самых губ в чашке вода плещется,

паром исходя. Кто-то за спину Каталана поддерживал, кто-то чашку ему подносил. Глотнул Каталан горячего, и вдруг слезы хлынули у него из глаз и вместе со слезами выскочили наконец и те слова, что забили ему горло, будто пробкой, вдохнуть не позволяли:

– Доминик умер!

Глава седьмая
АРНАУТ КАТАЛАН ИЩЕТ СВЯТОГО

Думал Каталан избавиться от слов, запиравших ему дыхание, передать их братьям Доминика де Гусмана и уйти своей дорогой; как войти, так и выйти – а уж братья пусть делают с этими словами, что им заблагорассудится. Думать-то он думал; получилось же все совершенно иначе.

Сперва не хотели братья верить Каталану. Да что он за человек, откуда взялся и как посмел говорить такое? Но Каталан показал им маленький молитвенник в потрепанном кожаном переплете. И странное дело: горе братьев Доминика не доставило Каталану ровным счетом никакой радости.

Удивительные вещи на свете творятся, в иные не вдруг поверишь – чтобы такое душой принять, усилие над собою делать приходится!

***

Тринадцатое от Рождества Христова столетие близилось к своей трети; Каталан же, думается нам, миновал тридцатилетний рубеж, но к сороковому еще не приблизился. Так, между тридцатью и сорока, будем считать его, ибо если теперь, благодаря мастеру Менахему, и знал он, что родился поздней осенью, год его появления на свет оставался по-прежнему темным.

И вот как-то раз отправились в Фуа по делам веры два доминиканца: одного, постарше летами, звали Этьен из Меца; другой же был наш Арнаут Каталан, которого именовали теперь также братом Вильгельмом.

Шагал Каталан с котомкой за плечом по дороге, что вилась по долине речки Арьеж, а впереди, вынырнув из-за поворота неожиданно близко, громадой поднялся в небеса гордый замок Фуа.

И сказал Этьен из Меца, утомленный долгим пешим путем:

– Слава Богу! Мы пришли.

Ступили на мост, переброшенный над бурливыми водами Арьежа, прошли несколько шагов и остановились, ибо на мосту сидел и неотрывно глядел в поток какой-то человек, одетый в вытертую овчину и грязноватые штаны из мешковины. На голове

у него торчала набекрень шапчонка.

Заметив двух путников, этот человек резво вскочил, сорвал с головы шапчонку, обнаружив неряшливую плешь, и усерднейшим образом поклонился; когда же распрямил спину, монахи увидели загорелую, прорезанную морщинами физиономию с вырванными ноздрями. Небольшие темные глазки глядели лукаво и без всякого страха.

– Привет вам, добрые люди! – сказал он, вроде бы смиренно и вместе с тем на удивление нагло. – Не благословите ли бедного калеку, коли иного с вас взять все одно нечего?

Этьен из Меца нахмурился, а Каталан спросил:

– Нужен нам Бернарт де Фуа. Не ему ли ты служишь?

Безносый пройдоха отвечал, что служит он графине Петронилле де Коминж и дочери ее, графине Бигоррской, и что можно его зарезать, но больше от него все равно не добьются, ибо графу Бернарту он не слуга.

– Графинин я, – заключил он, пустив из глаза лживую слезу. – Петрониллы я.

– Бестолковый! – сказал Этьен из Меца.

Но Каталан хорошо видел, что человек этот вовсе не бестолков и далеко не так глуп, как притворяется.

– Никто ведь не отбирает тебя от твоей графини, – обратился Каталан к безносому. – Нам нужен граф Бернарт.

Безносый закручинился пуще прежнего, головой затряс.

– Найдете вы графа Бернарта, добрые люди, непременно найдете, а отыскав, небось, скажете, что видели на мосту безносого калеку…

– Только и дела нам графу такое говорить! – сказал Этьен из Меца.

– Так ведь я перед ним виноват, – охотно пояснил калека. – Взял на кухне топор, да сдуру в этой вот реке и утопил.

– Что же ты сидишь на мосту? – спросил Каталан. – Лезь в воду и поскорей вытаскивай топор, не то он заржавеет.

Но раб опять покачал головой.

– Нет уж, лучше я посижу на мосту и подожду, пока вся вода из реки вытечет. Вон как быстро бежит. Теперь уж недолго ждать осталось.

И снова на краю моста устроился, а оба монаха пошли дальше.

***

Никогда не получалось так, чтобы добром ладили между

собою католическая Церковь и старый мятежный Фуа. Вечно между ними какая-то тень пролегает.

А тут приходит известие и вовсе неожиданное. Будто обнаружились в окрестностях Фуа какие-то чудотворные мощи и на могиле этого нового святого будто бы чудесным образом происходят исцеления.

Одновременно с тем говорили, что в графстве Фуа настоящее раздолье разным бесам и творятся там нынче дела совсем уж темные и непотребные.

Зная Рыжего Кочета и весь его воинственный курятник, братья Доминика склонялись, скорее, к последнему мнению, и потому, немало встревоженные, направили в Фуа Этьена из Меца, дав тому в спутники и помощники брата Вильгельма, называемого также Каталаном.

***

И вот решили монахи направиться для начала в ту самую рощу, где, по слухам, местные крестьяне открыто поклоняются дьяволу.

Долго идти не пришлось. Дорога сама привела сперва в деревеньку, а потом, минуя небольшие поля, – в рощу.

Вошли и остановились, прислушиваясь. Кругом деревья шумят, птицы поют. Потом сказал Каталан:

– Вроде бы, ребенок плачет.

Тут оба ускорили шаг и поскорее углубились в рощу.

В те времена много страшного совершали над детьми, и потому доминиканцы торопились изо всех сил, чтобы помешать новому преступлению. Вскоре они вышли на поляну, такую страховидную, что и не видя творящегося там непотребства, легко можно было заключить: ничего доброго здесь не происходит. Повсюду на деревьях были развешаны цветные ленты и лоскуты, на иных ветках болтались вылепленные из глины крошечные ручки, ножки, сердечки, либо куколки, изображающие грудных младенцев. А посреди поляны красовался деревянный крест, увитый гирляндами цветов и травы.

Но вид креста ничуть не успокоил Этьена из Меца и его сотоварища Арнаута. Ибо под самым крестом, окруженный четырьмя горящими свечами, на голой, закапанной воском земле, лежал голый младенец и заходился плачем.

Долго не раздумывая, Каталан стремительно прошел через поляну, наклонился над ребенком и подхватил его на руки. Дитя было едва ли годовалым, изо рта, где торчало всего два зуба,

непрерывно текли слюни, а из носа пузырями выходили сопли. Держа извивающегося, орущего ребенка, Каталан повалил ногой и затоптал свечи.

Между тем Этьен из Меца обошел поляну кругом и скоро наткнулся на молодую бабу, стоявшую за деревом и неотрывно глядевшую на нечестивый крест. Этьен ухватил ее за плечо, чтобы не убежала, но баба так ослабела от слез, что только обмякла и повалилась на Этьена. Лицо у нее покраснело и распухло, а пальцы были искусаны в кровь.

Этьен из Меца спросил:

– Это твое дитя?

Она поглядела на него тупо, потом разлепила губы и вымолвила:

– Мое.

– Как тебя зовут?

– Катерина.

Больше Этьен из Меца ничего спросить у бабы не успел, потому что Каталан налетел на них разъяренной вороной и заорал на Катерину:

– Ты! Шлюха! Уморить его взялась?

Катерина, совсем поглупев, расквасилась, потонула в слезах, дрожащими руками к ребенку потянулась.

– Он болен, – сказал Этьену Каталан. И снова напустился на Катерину: – Где ты живешь, дура?

Катерина на подгибающихся ногах потащилась в деревню. Каталан шел рядом, ребенка бабе не отдавая; Этьен – следом. В деревне они разделились: Этьен пошел расспрашивать жителей о чудотворной могиле, а Каталан прямиком отправился в дом Катерины, ибо в котомке, по старой еще памяти, таскал разные снадобья и лекарства.

В доме было темно и душно. В котле над очагом что-то булькало. Голая по пояс, потная и чумазая девчонка лет тринадцати с завязанными платком волосами помешивала в котле деревянной ложкой.

– Это моя сестра, – тихо сказала Катерина.

– Хоть бабушка, – буркнул Каталан. – У твоего сына горячка, Катерина. Ты знаешь об этом?

– Ох! – вздохнула она всей утробой. – Еще бы мне не знать этого, господин, если которую уже ночь глаз не смыкаю. Того и гляди помрет. Ничего не помогает.

– Зачем же ты понесла его в рощу, да еще раздела?

– Может, святой Мартын помог бы! Он спасает, когда иные средства уже испробованы.

Каталан велел глупой бабе молчать, а сам полез в котомку.

Тем временем Этьен из Меца собрал вокруг себя целую толпу взволнованных деревенских кумушек, среди которых, разумеется, преобладали загорелые дочерна, с узловатыми пальцами и жилами на шее старухи. И болтливые же они все оказались! Все-все святому отцу поведали с превеликой охотой.

Вот как оно было, святой отец. Случилось это, надо думать, тому уж тридцать лет назад. Или тридцать пять. Давно. Пошли как-то раз дети в рощу и увидели там чудо: большой деревянный крест, увитый цветами, а у креста – девочку. Совсем юная то была девочка, лет десяти, не больше. И крошечная! И такая раскрасавица, вся такая светленькая! Волосы у нее золотые, веночком прихваченные, ручки – как белоснежный атлас, лицо и особенно глаза – как свет. И заливалась она светозарными слезами, крест обнимая, и говорила с кем-то невидимым, обращаясь к нему по имени – а имя то было "Мартын". Тут выбежали на поляну подглядывавшие за нею дети. Вскрикнула девочка и исчезла. А крест остался. И вошло у детей в обычай навещать крест и украшать его наподобие того, как делала это чудесная девочка.

И вышло как-то раз, что заболел у одной женщины ребенок. Вот пошла она в рощу, набрала травы с могилы святого Мартына, положила пучок в колыбельку – и случилось чудо: наутро дитя выздоровело…

Историй, подобных этой, кумушки могли нарассказывать целый воз и еще малую тележку, да только не было у Этьена ни воза, ни даже тележки, чтобы погрузить все эти басни, и потому велел он бабам замолчать и только отвечать на вопросы. И хоть не вдруг, а постепенно, но угомонились бабы.

– Значит, крест появился в роще лет тридцать назад? – спросил Этьен.

Верно, верно! Правильные слова! Хотя, можно сказать, что и раньше он здесь появился. Лет сорок назад. Аулула тогда померла. Или, еще вернее, Анна-Кривая тогда народилась. Только эта Анна тоже померла в прошлом году – родами. И деточки ее померли тоже.

Получив таким образом ответ на первый вопрос, перешел Этьен ко второму.

– И надпись "Мартын" была на кресте изначально?

На это все бабы отвечали утвердительно и без подробностей.

– А та светящаяся девочка больше не показывалась?

Вроде бы, видели ее еще разок… Или не видели… И кто она такая – никто толком не знает. Думают, сестра святого Мартына. Или ангел. Молитва к обоим есть специальная – "Милостивые заступники наши, святой Мартын со святою Мартою, деточкам

нашим спасение, матерям утешение…"

– А много ли детей исцелилось?

Как ни удивительно, на такой вопрос ответа Этьен так и не получил. Говорили, дочка Марготон поправилась, когда Марготон дала ей поесть землицы с этой могилки… Еще двое детишек, правда, из другой деревни, не из нашей, похоже, исцелились от оспы. Но никого из недавно излеченных святым Мартыном достоверно указать кумушки так и не смогли, хотя это их ни в малейшей степени не обескуражило.

Тут из катерининого дома вышел Каталан, сказал хмуро, что дите расхворалось не на шутку и его лечить надобно, так что задержится он, Каталан, на пару дней у Катерины. А то как бы глупая баба не потащила опять ребеночка в рощу.

Таким образом оба доминиканца остались в деревне, довольствуясь, впрочем, столь малым, что даже местные крестьяне через день перестали звать их захребетниками, хотя и поглядывали по-прежнему косо.

Нового выведали немного. Исцеленных – так, чтобы с ними можно было поговорить, – не обнаружили; хотя, по рассказам, вся округа ими так и кишела. Таинственная Марта представляла также неразрешимую загадку: ее то ли видели, то ли нет, что, впрочем, не мешало крестьянам твердо верить в ее существование.

Наконец катеринин ребенок пошел на поправку. Бедная Катерина не знала, как и благодарить: целовала Каталану руки, лепетала невнятное, совала ему хлеб, кусок домотканого полотна, норовила даже всучить дешевенькие бусы, которые носила на шее. Каталан от всего, кроме хлеба, отказался, оставил микстуру от кашля и поскорее ушел, сопровождаемый причитаниями Катерины и ее чумазой сестренки.

***

Конечно, граф Бернарт де Фуа и гостившая у него кузина, графиня Петронилла де Коминж, знали о прибытии монахов. Они встретили доминиканцев весьма учтиво, отвели им хорошую комнату, дали прислугу. Ничем пока что неприязни не выказывали, что, впрочем, никого не обманывало. В последние пятьдесят лет не бывали графы Фуа добрыми католиками.

И граф, и сестра его – оба уже немолоды, лет сорока с лишком; оба рябые, рыжеватые с проседью, с острыми, мелкими чертами лица, с желтоватыми глазами.

Разговор у Этьена, естественно, с графом повелся – он

здешних мест властитель, ему и отвечать. Графиня больше слугами распоряжалась, за удобством гостей следила.

Поначалу беседа никак не желала склеиваться. Бернарт де Фуа не понимал, о чем доминиканцы допытываются. Крестьяне в роще какое-то идолопоклонничество развели? Это дело скверное. Коли католическая Церковь без того спокойно жить не сможет, то, так и быть, велит он, граф Бернарт, кого-нибудь из мужланов выпороть – в назидание.

Тогда сказал Этьен из Меца:

– Поймите нас, мессен, мы не карать сюда прибыли, но всего лишь разобраться. По слухам, у креста в вашей роще происходят чудесные исцеления. Если это действительно так, необходимо назначить комиссию по расследованию деяний нового святого, обретенного Церковью. Если такое расследование принесет удовлетворительные результаты, то графство Фуа будет прославлено в глазах всего католического мира.

У графа Бернарта был такой вид, будто ему предложили отмочить какой-то совершенно неожиданный фокус, и он не знает, как к этому относиться: смеяться или гневаться. А графиня Петронилла вдруг как-то заскучала. Все это не ускользнуло от Каталана, который, сидя чуть в стороне и предоставив Этьену вести беседу, с любопытством наблюдал за происходящим.

Граф Бернарт выслушал:

– о несомненных преимуществах обрести для Церкви нового святого;

– о том, что причиной для канонизации могут служить мученическая смерть за веру, праведная и святая жизнь, особые заслуги перед Церковью, а также чудотворение, совершаемое молитвами святого или проистекающее от его мощей;

– о том, что новое свидетельство благости Божией, явленное на землях Фуа, послужит к великому и радостному примирению старого еретического гнезда с Церковью…

Словом, заключил Этьен из Меца, из разговоров местных жителей следует, что на могиле святого Мартына происходят или происходили исцеления детей, поэтому новый культ нуждается в упорядочении.

– Каким образом вы предполагаете его упорядочить? – осведомился Бернарт де Фуа.

– Для начала нужно перенести останки святого в храм, – пояснил Этьен из Меца.

– Что ж, – молвил Бернарт, – если от меня больше ничего не требуется, я буду счастлив помочь вам такой малостью.

***

Вот так и вышло, что два доминиканца, граф Бернарт, графиня Петронилла, все их дети и домочадцы, при большом стечении местного люда, собрались на поляне у могилы святого Мартына. Нечестивые подношения, вывешенные на деревьях, уже пообрывали с веток, дабы сие язычество более не смущало умов.

Несколько баб, по темноте и глупости, тишком плакали, размазывая слезы рукавами, но большинство изводилось от любопытства: страх как интересно, что там, под крестом, – вдруг и правда нетленные мощи? Неизвестно, какие образы роились в головах собравшихся и что они ожидали увидеть: не то епископа в полном облачении, не то воина в почерневших от драконьей крови латах, не то горстку праха – но то, что извлекли из могилы, превзошло все ожидания.

Поначалу два мужлана осторожно сняли крест и положили его на траву. Затем принялись бойко орудовать лопатами. Никакого гроба они, вопреки предположениям, так и не откопали. Поначалу решили, что под крестом и вовсе никто не похоронен, но затем, присмотревшись, обнаружили в комьях земли кости.

Эти кости были ощутимо мельче человеческих, но едва лишь пронесся восторженный слух о захоронении здесь эльфа, как один из мужланов вытащил и очистил от земли собачий череп.

Тут поднялся страшный шум. Мужья бранили жен за легковерие, две или три кумушки, вопреки очевидному, яростно настаивали на святости Мартына, горожанка Лизель, вдова медника, вцепилась в волосы одной деревенской старухе, по чьему наущению клала к этой могилке разные подношения. Этьен из Меца побелел, графиня Петронилла закрыла лицо руками, а граф Бернарт оглушительно расхохотался.

***

Бедные собачьи косточки спалили вместе с крестом, народу было велено покаяться в совершенном зле идолопоклонничества; к графу же Бернарту появились у Этьена новые вопросы.

Но Бернарт ничего не мог сказать. Он и сам был немало удивлен случившимся. Этьен пригрозил наложить на Фуа интердикт, если граф не сознается в нечестии и покровительстве идолопоклонникам.

– Я могу сознаться, коли вам это так уж необходимо, – сказал Бернарт, – да только никому я не покровительствовал; что до мессена дьявола, то я люблю его не больше вашего.

Так ничего и не добившись, отступились доминиканцы и, весьма опечаленные, отправились пройтись перед сном к реке

Арьеж. Чернели деревья, медленно угасало небо, невидимая под густой листвой текла река – а на душе нехорошо было, тревожно.

На обратном пути их остановила графиня Петронилла. Тихо подошла, попросила уделить ей немного времени. По правде сказать, на Петрониллу ни Этьен, ни Каталан особого внимания не обращали. Не на что там внимание обращать: махонькая, сухонькая, рябенькая, совсем уже старушечка. И тихонькая, как мышка.

– Я знаю, кто похоронил в роще собаку, – сказала она. – Пощадите Фуа.

Тут Этьен сразу насупился, помрачнел, попросил графиню рассказать все без утайки и без ложной жалости к нечестивцам.

Она только головой покачала.

– Да ведь это я его там и закопала, – сказала она. – Десять лет мне было, когда подарил мне один раб щеночка, и назвала я этого щеночка Мартыном…

Она улыбнулась и заплакала.

– Золотоволосая девочка, – сказал Каталан. И удивленно на старенькую графиню глянул.

– Это вы поставили собаке крест? – спросил Этьен из Меца.

– Да.

– Одна?

Петронилла помолчала немного, потом сказала:

– Да.

Этьен вздохнул.

– Десятилетняя девочка? Вы солгали!

А запугать Петрониллу ничего не стоило. И расплакавшись пуще прежнего, все рассказала она Этьену из Меца: и про щенка, и про своего друга-псаря, и про то, как вместе поставили они крест, и про то, как ходила она на могилку к Мартыну горевать…

И сказал ей Этьен, что грех свой искупит она строгим недельным постом, а Фуа будет прощено. И в знак искренности раскаяния должна графиня назвать своего сообщника по тому давнему детскому безумству, ибо он виновен тоже и должен понести надлежащее наказание.

***

Наутро привели к Этьену безносого псаря – того самого старика, неряшливого да пройдошливого, что на мосту монахам повстречался и дерзостей наговорил. Стоял, дырками вместо носа сверкал, глаза щурил.

Спросил его Этьен об имени, как полагается.

– Песьим Богом зовут меня, – брякнул старик.

Этьен так и подскочил.

– Что же, мне так и записать – Песий Бог? – спросил Каталан (он записи вел).

– А это уж как вам хочется, добрый человек, – живо отозвался старик. – Я никого не неволю, сам подневольный. Охота вам писать – пишите, а срамно – так и воздержитесь.

– Языческое имя какое-то, – пояснил Каталан. – Для тебя в том ничего доброго нет.

– Графиня меня Роатлантом нарекла, – вспомнил псарь. – Такое имя подойдет?

Каталан молча записал – "Роатлант" и еще раз на псаря подивился: что за фантазия ему, безобразному да невольному, таким пышным именем называться?

– Ну что же, Роатлант, рассказывай, как графиня Петронилла надоумила тебя сподобить пса христианского погребения и ввергнуть, таким образом, весь край в злую ересь.

– Графиня? Ну уж, вот кто здесь ни при чем! – заявил псарь. – Графиня была тогда дитем несмышленым.

Этьен оперся локтями о стол, в безносого псаря взглядом вбуравился.

– Ты понимаешь, Роатлант, что сейчас на смерть себя обрекаешь?

– Не жизнь и была, – отозвался псарь, махнув рукой. – А мою графиню не трогайте. Ее самоё впору святой объявить, столько всего она натерпелась!

Тут, по приказанию Этьена, приходят двое слуг графа Бернарта и вяжут Песьему Богу руки, а после препровождают в подземелье, где в прежние времена графы Фуа держали узников. Пусть ждет, какую участь ему определят.

А доминиканцы садятся за стол и долго составляют отчет обо всем случившемся в Фуа. Никто не осмеливается их тревожить, даже граф Бернарт. Петронилла, неутешная, где-то скрывается.

Час сменяется часом. Отчет почти закончен. Каталан почти ослеп от долгого писания. Скоро уже пора на покой.

И вдруг к монахам врывается девушка – две темных косы перевиты лентами, платье синее, в серых глазах – бешеный гнев. Почти на подоле висит у нее перепуганный холуй: нельзя, нельзя, нельзя!..

Крак! Юбка трещит и рвется, под синей юбкой белеет камизот, а девушке и дела нет. Влетела, хвать – и чернильница, выхваченная у Каталана из-под носа, летит прямо в лицо Этьену. Драгоценный отчет весь залит чернилами. Стол, оба монаха, девушка – все вокруг в пятнах.

Тяжело дыша, она стоит перед ними – еще почти дитя, не девушка даже – подросток.

Этьен медленно поднимается с места, отирает лицо, подходит к девочке.

– Кто ты, дитя? – спрашивает он кротко.

Девочка удивлена этой кротостью; она готовилась к яростной битве. Но тем не менее быстро приходит в себя и отвечает горделиво:

– Я Алиса Бигоррская!

Ни Этьен из Меца, ни Арнаут Каталан этого имени не знают. Девочка поясняет:

– А моя матушка – графиня Петронилла де Коминж.

– Сколько же тебе лет, дитя?

– Тринадцать!

Этьен немного озадачен: Петронилла показалась ему слишком старой для того, чтобы иметь такую юную дочь.

– Что же ты хочешь сказать нам, Алиса? – спрашивает Каталан.

Девочка надменно глядит в его сторону.

– Только одно. Если вы действительно попытаетесь казнить Песьего Бога, – клянусь Пресвятой Девой! – я возьму его себе в мужья.

И не дав монахам времени опомниться, она резко поворачивается и выбегает вон.

Каталан страшно зол. Придется очищать пергамент и писать отчет заново. Но Этьен задумчив. Какое-то воспоминание бьется в мыслях, просится на волю и наконец выходит такими словами:

– Думается мне, это дитя от того брака, что был у графини де Коминж с Гюи де Монфором.

– С каким еще Монфором? – ворчит Каталан.

– С одним из сыновей Симона.

Каталану об этом ничего не известно. Но в то, что зловредная девица – племянница Амори – в это Каталан верит сразу. Даже и сходство теперь примечает. И подобрав почти пустую чернильницу, с силой швыряет в стену:

– Неужто до конца дней моих не будет мне житья от симоновых змеенышей?

***

Уходили из Фуа мало не оплеванные. Графиня Петронилла простилась с доминиканцами холодно, в глаза не глядела, лицо каменное. Дочка Монфора, Алиса, напротив, – открыто

торжествовала: отстояла поганого псаря, пальцем его никто не тронул! Рыжий граф Фуа держался безупречно вежливо, да только в искренность всех его улыбок и заверений почему-то почти не верилось.

Чума на этих горцев, все они друг за друга держатся, последнего раба не отдадут.

Уже в деревне нагнала уходящих собачья свадьба. Чем-то не глянулся суке Арнаут Каталан. Тотчас же напрыгнули псы и стали Каталана терзать оскаленными зубами, напав сразу со всех сторон и рыча ужасно. Еле отбились вдвоем (а местные жители и пальцем не шевельнули, чтобы помочь), и прочь побрели.

Вот и деревня за спиной пропала, и замок Фуа исчез, скрытый другими горами, а монахи все не останавливались, стремясь положить расстояние побольше между собою и клятым Фуа.

Наконец простонал Каталан:

– Не могу больше!

И повалился без сил на камни на берегу реки Арьеж. Этьен из Меца рядом сел, хлеб из котомки достал, поделил пополам. Подкрепились, запили водой из реки. Каталан умылся, счистил кровь с лица и рук и, плача над собой, сказал:

– Не псарь ли безносый в отместку псов надоумил? Недаром он себя Песьим Богом называет!

Но Этьен возразил:

– Мы и сами себя Псами Господними называем. Кто видит здесь обидное? Слышал я, кроме того, что и блаженная Иоанна, родившая нам Доминика, видела во сне, будто тяжела она щенком.

Однако Каталан, пребольно покусанный собаками, продолжал рыдать неутешно.

– Вон, и одежду на мне всю изорвали! Так и светится мое бедное тело сквозь прорехи! Как я пойду дальше таким оборванцем? Ночью в горах холодно!

А плащ на Каталане и впрямь превратился в сплошное месиво лоскутьев – такое тряпье теперь только выбросить. И молчал Этьен из Меца, не зная, как горю сотоварища помочь. И плакал Каталан горькими слезами, и ругал Доминика де Гусмана:

– Зачем ты только направил меня в Сен-Роман? Ни от меня твоим братьям никакой пользы, ни мне от братьев твоих! Со всех сторон одни беды да убытки! Как мне теперь чинить мой плащ, когда я и шить-то не умею? Слюнями его слепить, что ли?

– Да, – сказал кто-то, смеясь.

Каталану показалось, что это Этьен из Меца говорит, вот он и напустился на своего спутника:

– Бог накажет тебя за то, что насмехаешься!

Этьен обернулся, словно искал – с кем это Каталан разговаривает, но никого не обнаружил. А Каталан, от обиды сам не свой, набрал в горсть дорожной пыли, плюнул туда и стал жидкой этой кашицей прилеплять лоскутья друг к другу – аж трясся и от слез полуослеп, а сам все приговаривал:

– Издевайся, издевайся! Насмешничай! Всем вам только и радости, что дурака из Каталана делать!

Тут Этьен из Меца очнулся от своего удивления и, взяв Каталана за руку, спросил ласково, будто хворого:

– Что ты делаешь, брат?

Каталан руку выдернул, крикнул – в голосе слезы звенят:

– Плащ слюнями чиню, как ты и советовал!

– Да ничего я тебе не советовал, – сказал Этьен из Меца. – Я молчал.

Каталан поутих. Тоже обернулся, но, как и Этьен, никого не увидел.

– А кто же тогда…

И тут Каталан заметил наконец, что плащ его стал как новенький: рванина исчезла, прорехи затянулись, как раны на теле, оторванные клочья приросли к тем местам, куда приложил их Каталан.

Переглянулись оба, немея от ужаса и восторга. Потом Каталан схватил свой плащ, прижал к лицу и груди, от благоговения изнемог. Когда же оторвался, то увидел, что Этьен глядит на него светло и радостно.

И спросил Каталан:

– Это что получается? Это я… я чудо сотворил?

***

И почему это всегда так выходит, что дети, слуги и собаки крепко держатся друг друга – точно в заговоре каком против всего остального мира состоят? Хоть и состарился Песий Бог, а все так же водит дружбу больше с господскими детьми. Дети же в Фуа никогда не переводились; и сейчас бок о бок росли там две девочки – Филиппа, дочь графа Бернарта де Фуа, и Алиса Бигоррская, семя Монфора.

Филиппа – в деда – удалась рябенькой и рыжеватой; Алиса же, как на грех, с каждым годом все больше напоминала Симона: те же широко расставленные серые глаза, та же складка губ. Будто из глубины давней горькой памяти проступали на детском, девичьем лице черты ненавистного врага. Отправить бы Алису на север, к отцовой родне, на попечение ее дяди Амори, но –

Бигорра…

Впрочем, то заботы графа Бернарта и его сестры, графини Петрониллы; а у детей, покамест не выросли, совершенно иные тревоги.

Филиппа, чинно сидя на лавке в углу псарни, обучает Песьего Бога разным премудростям – как тому надлежит являть покаяние, что говорить попам, как поступать в храме и в чем состоит благочестие. Алиса же возится со щенками и почти не слушает.

Песий Бог, без шапки, глядит на важничающую Филиппу, помаргивает и улыбается – глуповато, стариковски.

Алиса вдруг перебивает:

– Как это тебе пришло в голову хоронить пса под крестом?

Щенки ползают по ее коленям, грызут ей пальцы; Алиса морщится.

– Полюбился ей пес… – начинает псарь.

– А я ходила на эту могилу, – говорит Алиса. – Там хорошо… Только грустно.

– А как плакала, бедная, когда щеночек издох! – умиляясь, вспоминает безносый псарь свою госпожу и обтирает шапкой потную плешь. – Так убивалась! Я ей сдуру рассказал еще, что собаки людям кровная родня через мессена дьявола.

– Не смей так говорить! – вскидывается Филиппа. – Кто только научил тебя этой гадости?

Псарь вздыхает.

– Когда-то давно добрые люди учили, а я и запомнил… Говорили, помню, родством объясняется собачья привязанность к людям… А ведь так оно и есть: собака – скотина, вроде бы, неразумная, без души, а вдали от человека жить не станет, повсюду за хозяином ходит…

– Вздор! – говорит Филиппа. – Мессен дьявол тут ни при чем.

– А кто при чем? – любопытствует Алиса.

– Давным-давно… – начинает Филиппа.

Псарь садится на пол – слушать. Щенки перебираются от Алисы к псарю и, заблудившись в соломе, громко пищат.

– …жил в пустыне один святой отшельник, – не обращая внимания на всю эту возню, продолжает Филиппа. – И когда стал он немощен, пришел к нему лев и прислуживал старцу. Лев все для него делал…

– Вовсе не так было, – встревает Алиса. Не может слушать долго, не вставив словечка-другого, и на все-то у нее заготовлено собственное мнение. – Это совсем не такая история. Она не про старца, а про одного рыцаря, Гольфье де ла Тура. Этот рыцарь бился в Палестине против неверных сарацин, давным-давно, и вот однажды спас он льва от ядовитой змеи…

Но не так-то просто сбить Филиппу с мысли. Тряхнув головой, она упрямо ведет историю дальше:

– И когда старец заболел и умер, лев пришел на его могилу и там плакал совсем как человек и ничего не ел, и так издох поразительным и прискорбным образом.

– Вовсе нет! – запальчиво возражает Алиса. – Когда эн Гольфье отплывал из Вавилона на большом корабле, верный лев бросился вплавь за своим господином и утонул в волнах. Вот как было!

Филиппа говорит назидательно, явно подражая кому-то:

– Оба эти случая удивительной преданности львов людям были явлены Господом Богом как чудо, чтобы показать, сколь покорны были животные в раю Адаму.

Безносый псарь некоторое время размышляет над услышанным. Борзая сука с висящими под брюхом, как бахрома, сосцами, подняв морду, тихонько лижет его в лицо. Псарь рассеянно гладит собаку по спине, треплет за бок и наконец говорит:

– Значит, собаки – наш рай на земле.

Глава восьмая
АРНАУТ КАТАЛАН ВЫКАПЫВАЕТ ТРУП

Что сказать об Альби, этом океане света, носящем имя утренней зари трубадуров, о городе из красного кирпича, отраженном в медленных зеркальных водах зеленого Тарна? Что Альби красив?..

Каталан старел и, старея, все более срастался с именем брата Вильгельма, под которым теперь многие его знали и ненавидели.

В лето Господне 1233-е по Воплощении, весной, за три седмицы до Пятидесятницы, вошел Каталан в Альби. И был с Каталаном еще один брат проповедник из Тулузского монастыря, тоже Вильгельм, тоже лет сорока, но, в отличие от Каталана, ничем не примечательный.

Уж конечно в Альби братьям проповедникам не обрадовались, да они не затем и явились, чтобы им кто-то радовался.

Магистраты покривили губы, но предписания от Каталана взяли и, согласно этим предписаниям, устроили обоих гостей со всевозможными удобствами, которые заключались в том, что им предоставили весь второй этаж богатого дома городского судьи, где монахи расположились, как захотели: сняли со стен ковры, вынесли вон постели и всю мебель, оставив только скамью и стол. Каталан предпочел спать на голом полу, а товарищ его Вильгельм потребовал, чтобы ему дали досок и соломы.

Все эти чудачества братьев проповедников хозяин дома снес с терпением и кротостью, которые делают ему честь.

Затем в обставленное таким образом помещение были вызваны городской голова и все шесть консулов, возглавлявших городское самоуправление. Под мрачным взором распятого Христа, вывешенного на стене вместо ковра, все семеро присягнули Каталану на Евангелии, обещав всяческое содействие его миссии (на то у Каталана имелось еще одно предписание, от провинциала ордена).

Заручившись таким образом покорностью светских властей, вошел Каталан в переговоры с духовными, и вскорости уже беспрепятственно громыхал с кафедры в церкви святой Цецилии, обращая гневные взгляды то на одну дерзкую физиономию, то на другую. Говорить же красно Каталан умел – еще с тех времен, когда прозывался Горжей и кривлялся по площадям, погрязнув в

нечестии если не по уши, то уж всяк ощутимо выше пупа.

За яростное красноречие и ценили его братья проповедники. Бойкий язык часто выручал Каталана в тех случаях, когда подводило его очевидное невежество.

И кричал он с кафедры, так сильно подавшись вперед, что, казалось, вот-вот нырнет вниз головой на собравшихся в церкви прихожан.

– Покайтесь! – взывал он, подобно Иоанну. – Вы, зараженные грубой и неистовой ересью! Горестно видеть, как сеется между вами погибель, как улавливают вас сети ослепления! Не слушайте катарских лжеучителей, их обходительность – мед, но учение – яд!

И верил он в то, что кричал, – верил так глубоко, что у многих мороз шел по коже.

– Для проповеди, для кроткого слова я пришел сюда, не для кровопролития! – хрипло выкаркивал Каталан. – Однако если один только страх светского наказания может побудить вас раскаяться, – что ж! Прибегну к страху, коли любовь еще не заставила вас искать духовной помощи!

Много разного кричал Каталан и покинул кафедру весь красный и охрипший, оставив добрых жителей Альби в замешательстве и унынии.

После службы, сидя на берегу Тарна, следил он рассеянно, как на противоположном берегу три женщины полощут белье и, смеясь, переговариваются; мысли же Каталана бродили далеко, темными, мрачными тропами. Печаль из души, сколько было сил, гнал, ибо видел, что многие в Альби заражены ересью.

Уставший от грустных дум, в тягостных заботах, почти изнемогая под бременем тревог, склонился Каталан головой к траве и незаметно погрузился в глубокий сон. Проснулся он, видимо, вскоре, ибо солнце не успело переместиться на небе и сияло точно там, где помнил его, смеживая веки, Каталан. Пробуждение оказалось не из приятных: откуда-то прилетели и посыпались в изобилии на спящего комья земли, камни и палки. Все эти метательные снаряды последовательно обрушились на Каталана, затем раздался взрыв хохота, и несколько негодных мальчишек мелькнули под Новым мостом. Каталан тотчас же погнался за ними и одного, самого маленького, все-таки сцапал. Мальчик, видя себя на волосок от расправы, заорал благим матом, и мгновение спустя вокруг Каталана собралась толпа. Люди шумно негодовали на проповедника, которому, похоже, только и дела, что избивать неповинных детей прямо на улицах Альби. Тогда Каталан отпустил маленького разбойника и, растолкав людей, быстро ушел. Вослед ему свистели и

улюлюкали.

Но был Каталан человеком бесстрашным, и на следующий день его опять видели на улицах, где он выражал готовность сцепиться с любым, кто этого захочет. От желающих отбоя не было, и до позднего вечера Арнаут Каталан драл глотку на весь Альби, обличая еретиков и их нечестие – а об обычаях еретических общин и сходбищ Каталан был осведомлен чрезвычайно хорошо и на всякое возражение имел подходящий ответ. Только темнота разогнала спорщиков; но даже и после наступления темноты слышно было, как надрывается Каталан сорванным, петушиным голосом:

– Покайтесь, несчастные! Не боитесь вы ни Бога, ни людей! Мрак принимаете вы за свет, а свет обращаете во мрак! Вы прогнили в грехах, как скотина в навозе! Самого Господа, надо думать, стошнило от вас!

Но желающих его слушать уже не было, и ставни закрывались.

Наутро Каталан слег в сильнейшей горячке и до начала следующей недели не мог и головы поднять, так что второй проповедник, молчаливый Вильгельм, еле отпоил своего неистового собрата мясным бульоном и подогретым красным вином со специями.

***

Жилище, которое занимали доминиканцы, делили с ними еще несколько человек: предоставленная святым отцам стража из числа вооруженных служащих магистрата, общим числом восемь молодых людей нетрусливого десятка, один писец и трое мирских судей. Однако, нужно заметить, что Каталан захворал очень не вовремя: он не успел открыть в городе полноправный инквизиционный трибунал, поскольку городские власти не выделили еще ему своих представителей – все тянули с этим и оттягивали, как могли; у Каталана же по болезни не было сил настаивать.

А между тем не весь Альби ополчился на проповедника; нашлись и такие, кого сердечно задели его яростные и искренние речи.

И вот, пока Каталан болен, приходит в дом какая-то женщина и робко спрашивает, нельзя ли ей увидеть блаженного брата Вильгельма – того, что кричал на улицах и звал к покаянию столь отчаянно, будто и воистину приблизилось Царство Небесное.

Отвечали женщине, что именно этого брата Вильгельма

увидеть сейчас никак не дозволительно, ибо он, к великой нашей скорби, опасно болен; но ежели она неотложно желает сообщить что-либо об открывшемся ей нечестии, то может без утайки рассказать все другому Вильгельму.

Тогда женщина вдруг залилась обильными слезами и закричала:

– Ах, ничегошеньки я не знаю! Отпустите меня!

После чего бросилась бежать.

Не тут-то было! Крепко взяли ее за руки, удержали, уйти не позволили: как это – ничего она не знает? А зачем тогда пришла?

Весь этот крик потревожил больного Каталана. Да и то, по правде сказать, такой гвалт и покойника бы со смертного одра поднял. И выбрался Каталан, путаясь в одеялах и хватаясь за стены, в ту комнату, где плакала женщина, и велел стражникам немедля бедную отпустить, что и было исполнено. Сам же Каталан постоял-постоял, покачиваясь, затем позеленел, глаза закатил, сверкнув белками, и рухнул с грохотом на пол, ибо ноги его подло и несвоевременно взбунтовались против назначенной им роли быть опорой человеческому телу.

Тут уж все те, кто только что спорил между собою, в полном согласии бросились к Каталану, подхватили его, унесли и удобно устроили на кровати, с которой, впрочем, по настоянию самого блаженного брата проповедника были сняты и тюфяк, и покрывало. Так что водрузили изнуренное горячкой тело Каталана прямо на сплетенное сеткой колючее вервие и укрыли мешковиной.

Некоторое время Каталан лежал как мертвый, с застывшим восковым лицом. Женщина неловко стояла в углу, не зная – уйти ей или заговорить. Затем Каталан открыл глаза и устремил на посетительницу проницательный взгляд.

– Ты меня хотела видеть? – спросил он хрипло.

Женщина испуганно кивнула.

Каталан прошептал что-то на ухо своему товарищу, Вильгельму, и тот без разговоров выставил из комнаты всю стражу, а после опустил у входа плотную занавеску. Затем уселся на стул у стены, а женщине показал, чтобы она садилась на другой стул – в ногах постели.

Она так и поступила.

Воцарилось молчание. Потом женщина тихонько кашлянула и заговорила:

– Меня зовут Беренгьера де Кунь, святой отец.

– Любишь ли ты Бога, Беренгьера? – спросил Каталан.

Видать, слезы были у этой женщины где-то совсем близко, потому что она опять разрыдалась. Каталан не мешал ей плакать.

Лежал с закрытыми глазами, отдыхал.

– Люблю ли я Бога? – сквозь плач вымолвила Беренгьера. – Да как же мне не любить Его, коли все, что я имею, что люблю в этой жизни и после смерти, – от Него! Святой отец, помогите мне! Я такая ужасная грешница, что… Нет, я погибла и грязь моя задушит меня, и не будет мне спасения вовеки!

– Неужто? – переспросил Каталан и пошевелился на своем ложе, но тут же охнул и замер.

Вот как проходила жизнь этой женщины, Беренгьеры де Кунь.

Поначалу не верила она в то, что возможно буквальное выполнение заповедей Христа, ибо не видела вокруг себя никаких живых тому примеров. Затем, после замужества, свела она близкую дружбу с приятелями мужа своего, а именно: мессеном Бернаром Бростайоном и его женой, домной Бессейрой. Оба они были скромны и благонравны, щедры к нищим, милостивы, приветливы – словом, постепенно Беренгьера полюбила их всей душой и во всем стала доверяться их мнению и совету.

К ним в дом приходили разные люди и учили о спасении души. И думала Беренгьера, что теперь она воистину спасена…

– Когда же сомнение в святости этих людей посетило тебя впервые? – спросил Каталан.

– Года полтора назад, святой отец. Они так странно заговорили со мной… Намекали на что-то ужасное… Хотели, чтобы я отдала в их общину все мое состояние. Я не думала вступать в их общину, святой отец, мне не по душе было расставаться с той жизнью, что я вела в Альби. Ведь у меня был муж, дом, я надеялась также, что Господь пошлет мне детей… Но эти люди просили также, чтобы я ради спасения души оставила моего мужа.

– И ты оставила его? – спросил Каталан. – Ты посмела самовольно развязать то, что связано на небесах?

Тут Беренгьера заплакала еще горше.

– Я отказалась, но вскоре муж мой внезапно умер… Тогда они вернулись.

– Кто?

– Добрые люди.

Каталан неопределенно хмыкнул.

Женщина тихо спросила:

– Вы не верите мне, святой отец?

– Я верю каждому твоему слову.

Беренгьера вздохнула и заговорила уже спокойнее:

– Я так боялась, что они вернутся! А они пришли прямо ко мне в дом. Не знаю, как и проникли, потому что я велела не отпирать незнакомым. Вошли прямо в мою опочивальню,

благословили меня и прислугу, хотя я не просила об этом, дали благословленный хлеб, а потом один из них сказал: "Я же говорил тебе, маловерная, что скоро ты оставишь своего мужа. Господь и впредь не лишит тебя своего покровительства". Я так испугалась, святой отец, так испугалась, что потеряла память…

– Где живут эти добрые люди? Ты можешь указать мне их дом?

– Они ушли из Альби. Я не встречала их после этого уже больше года.

– Ты боишься, Беренгьера?

– Да, святой отец… Они вернутся. Они вернутся за мной!

Каталан пошевелился на постели и попросил:

– Дай мне воды.

Женщина встала, взяла со стола чашку с теплым питьем, прижала к груди. Молчаливый Вильгельм встретился с ней глазами. Она поскорее отвернулась и подала Каталану воды, а затем села на край постели и, нагнувшись, поцеловала его горячую сухую руку.

Каталан спросил:

– Ты можешь назвать по имени кого-нибудь из этих "добрых людей"?

– Одного звали Риго Лагет. Других я не знаю…

– Где сейчас Бернар Бростайон?

– В последний раз он ушел из Альби вместе с Лагетом.

– А жена его?

– Она умерла.

– Давно?

– Незадолго до Вознесения, в нынешнем году. Я думаю, святой отец, что тогда, год назад, они оба приняли катарское посвящение и сделались "совершенными", а после этого им уже нельзя было жить вместе. Поэтому Бростайон и ушел, оставив жену.

Каталан помолчал, раздумывая надо всем услышанным. Потом сказал Беренгьере де Кунь:

– Ступай домой и ничего не бойся.

***

Едва оправившись от болезни, изжелта-бледный, явился Каталан к альбийскому епископу и потребовал немедленно доставить к нему судью епископальной курии. Пока посылали за судьей, пока собирались капелланы и стража, Каталан метался, как зверь, по кафедралу святой Сесилии и ни за что не желал

уважить свое расслабленное здоровье и тихонечко посидеть, ожидая остальных.

Наконец явились все, за кем посылали, чинные и вместе с тем встревоженные, ибо никому в Альби не по душе было то беспокойство, которое внес пришлый монах своей лихорадочной деятельностью. Расселись, заранее готовые дать Каталану отпор.

– Да будет вам известно, почтенные, – вещал Каталан на весь собор своим треснувшим, пронзительным фиглярским голосом, – что господин наш святейший папа специальной буллой воспрещает сподоблять злокозненных еретиков христианского погребения. Насколько я знаю, в своих речениях эти люди, катары, высмеивают католические обряды и считают всякую землю одинаково священной. А коли так, то незачем их телам гнить и разлагаться в почве наших кладбищ!

Приунывший магистрат выслушал эту пламенную речь, после чего был дополнительно покаран чтением буллы.

– "Хотя святой папа Лев и говорит, что надо довольствоваться духовным судом и не прибегать к кровавым наказаниям, епископы должны, однако, опираться на светские законы и требовать вспомоществования светских властей…" – Тут Каталан устремил горящий взор на епископа – тот даже поежился. – "…А так как еретики-катары весьма размножились в Гаскони и в диоцезах Альби и Тулузы…" – Новая пауза, после чего голос Каталана сделался совершенно визгливым: – "…свободно проповедуя там свои заблуждения и стараясь развратить простаков, мы объявляем им анафему с их покровителями и укрывателями. Если же они умрут в своем грехе, их не должно хоронить среди христиан и служить по ним заупокойной обедни"!

Последние слова Каталан прокричал так истово, будто каждым словом по меньшей мере гвоздь заколачивал. Пергамент исчез под плащом. Каталан закашлялся. Слушатели его ожили, заговорили все разом. Когда кашель поуспокоился, Каталан спросил хрипло:

– Что скажете?

– Это вы объясните нам, святой отец, каковы ваши дальнейшие намерения, – осторожно отвечал городской бальи, – дабы мы все могли, по мере сил, оказывать вам содействие…

Каталан – черные с проседью волосы растрепаны, нос как клюв, впавший рот как щель, скулы торчат, щеки провалились – несколько мгновений сверлил его лихорадочно блестящими глазками, а после завопил, надсаживаясь:

– Мне достоверно известно! Что в вашем городе хоронят! На христианских кладбищах! Закоренелых еретиков! – Костлявый палец Каталана устремился в сторону скамей, перемещаясь с

одного капеллана к другому. – Кто здесь от прихода Сен-Этьен?

Встал, густо покраснев, пожилой священник с таким здоровым румянцем на всю щеку, что и самому неловко. Каталан напустился на него, размахивая руками и яростно подпрыгивая.

– Вы, святой отец, похоронили у себя еретичку, именем Бессейра Бростайон! Вам известно, что она приняла еретическое посвящение и считалась у еретиков "совершенной"?

– Я… – начал священник.

– А вы служили по ней обедню, святой отец! – продолжал орать Каталан. – Вы погребли нечистые останки на освященной земле! Вы осквернили…

Тут Каталана задушил новый приступ кашля.

Священник глупо сказал:

– Я ничего не знал.

Сражаясь с кашлем, Каталан прохрипел:

– Почему же я об этом сразу узнал?

– Вы святой, – убежденно сказал пожилой священник и уселся обратно на свое место.

Каталан сказал епископу Альби:

– Бичевать его и… на хлеб и воду до… Рождества… И проследить!..

Епископ кивнул, надеясь таким образом утихомирить отца инквизитора.

Но оказалось, что Каталан только начал. Глотнув принесенного служкой теплого питья, он обтер обметанные губы и потребовал, чтобы городской бальи немедленно направил на кладбище при церкви Сен-Этьен несколько человек, которые выкопали бы останки упомянутой Бессейры Бростайон и предали бы их публичному сожжению за кладбищенской оградой.

Тут городской бальи, побелев не хуже изнуренного постами и горячкой Каталана, пролепетал, что не может этого сделать. И даже приговор по делу Бессейры Бростайон, которым потряс перед его носом Каталан, не разубедил бальи.

– Мы просим всемилостивейше простить нас, святой отец, – смиренно проговорил перепуганный бальи, – но совершить такое не решится никто во всем нашем городе. Да извинит нас всех Господь за трусость! Выкопать на кладбище труп и сжечь его – это заведомо облечь себя на смерть. Так обстоят дела у нас, в Альби!

– Господь, который умер за вас, – медленно проговорил Каталан, – моими устами просит вас сегодня послужить Ему…

Но бальи уже оправился от первоначального страха. Не может он подвергнуть наказанию ослушников, ибо уверен: такого приказа ослушается любой житель Альби. И нет во всем городе ни одного человека, который посмел бы приблизиться к могиле

Бессейры, имея подобное намерение…

– Хорошо, – помолчав, молвил Каталан. – Есть ли в вашем городе, по крайней мере, один заступ, достаточно смелый для того, чтобы пойти со мной на это кладбище?

***

И вот Арнаут Каталан с заступом в руке отправился на кладбище. Никого из духовных с ним не было; однако Каталан недолго оставался в одиночестве. Весть мгновенно облетела весь город, и вокруг кричали:

– Смотрите, смотрите! Вон бесноватый монах идет разрывать могилы!

По одному, по двое начали присоединяться к Каталану зеваки. Они ничего не говорили, ничего не предпринимали – просто молча следовали за ним. А Каталан будто и не замечал растущей вокруг него толпы; шагал себе и шагал, видя перед собой одну только церковь Сен-Этьен и небольшое кладбище при ней.

Из окон выглядывали люди и кричали:

– Куда это вы все направляетесь?

А иные спрашивали:

– Что за праздник нынче? Ведь Пятидесятница уже миновала, а до Рождества далеко!

Спутники Каталана поднимали головы и отвечали тем, кто их окликал:

– Это сумасшедший монах из Тулузы, проповедник Вильгельм, идет раскапывать могилы!

И толпа все увеличивалась, так что в конце концов взбудораженные горожане заполонили всю улицу, по которой шел Каталан.

И вот он ступил на кладбище, а толпа хлынула следом. Теперь уже и самые голосистые попритихли, и все в полном молчании следили, как Каталан переходит от могилы к могиле, читая имена и выискивая место последнего успокоения Бессейры Бростайон.

Чего ожидали собравшиеся? Что небеса разверзнутся покарать дерзновенного монаха? Что мессен дьявол утащит его в преисподнюю? Что заступ обратится в змею и ужалит святого отца в яростное сердце? Что Бессейра Бростайон живой выйдет из могилы, чтобы произнести над монахом проклятье?

Наконец Каталан остановился у свежей насыпи, наклонился, щуря глаза, осмотрел. Выпрямился, обратился к толпе:

– Эта?

Общий вздох был ему ответом, и чей-то голос отозвался:

– Эта!

Каталан потряс заступом над головой и со всей силы обрушил его на могилу. Комья земли так и полетели. Задыхающийся, весь потный, с красными пятнами на скулах, Каталан разрывал пристанище еретички под пристальными взглядами толпы. Вскоре он гулко ударил заступом о крышку гроба.

И тут, будто очнувшись от странного оцепенения, кто-то в толпе прокричал:

– Что мы стоим и смотрим? Смерть святотатцу!

Вняв этому призыву, несколько человек метнулись к Каталану и, толкнув его в грудь, отбросили в сторону от могилы. Каталан пошатнулся и замахнулся заступом, обороняясь, но на нем повисли сзади и, схватив за руки, отобрали заступ. Каталан на миг замер, задрав лицо и дергая кадыком. Чья-то ненавистная харя нависла над ним, покатала за щекой языком и разразилась плевком прямо Каталану в глаза.

Каталан моргнул, и тут же кто-то сильно ударил его по скуле. Раз, другой. Каталан дернулся и вдруг резко пнул нападавшего ногой пониже живота. Тот заорал и скорчился, а Каталан слабо улыбнулся.

После этого его, не чинясь, с маху приложили головой о могильный камень, а после подхватили за плечи и, бессознательного, поволокли с кладбища на улицу.

Нельзя сказать, чтобы при этом разъяренные жители Альби заботились о том, чтобы не причинить одежде Каталана какого-нибудь ущерба, либо тревожились о сохранности бренной телесной оболочки самого монаха. Напротив! На нем самозабвенно рвали одежду, терзали его за волосы, норовили наградить кулаком или плюнуть ему в лицо, а кое-кто тянулся ножом. Желающих побить Каталана нашлось так много, что иные передрались между собой за право добраться до ненавистного монаха и расквасить ему морду.

Тем временем Каталан очнулся от временного забытья – мудрено было не прийти в себя, коли его непрестанно били и пинали, норовя превратить в сплошную кровавую кашу.

И сказал Каталан, выплюнув обломок зуба:

– Благословен Господь!

После этого он уже кричал не переставая, оглушая своих мучителей, так что улицы Альби заполнились как бы пением двух полухорий, во всем несогласных друг с другом:

– В реку его, в реку!..

– Блажен Иисус!
– Оторвать ему голову!
– Да пощадит вас Бог!
– Вон из города, убийца!
– Господи, прости их!
– Смерть монахам!
– Господи, благодарю Тебя!

Это Каталан орал почти на самом берегу Тарна, осипший, с плевками крови, которые летели у него изо рта при каждом выкрике.

На берегу мнения толпы разделились. Одни считали, что Каталана надлежит хорошенько связать и без лишних слов утопить. Другие же предлагали разрезать его живьем на куски, сунуть в мешок и бросить в реку.

Вторая затея понравилась толпе куда больше первой, но поскольку выполнение такого плана требовало значительно больше времени, то расправа немного замедлилась.

В этот момент Вильгельм Пелли со своей стражей, состоявшей из восьми дюжих молодцев, предусмотрительно вооруженных до зубов, выбежал на берег и помчался к Каталану. Удивительное дело, скажете вы, что столь немногочисленная стража разогнала толпу? Но не следует забывать о том, что толпа состояла преимущественно из любопытствующих и что среди избивавших Каталана не было ни одного, кто сам желал бы получить по морде. И потому Вильгельм без особого труда вырвал из рук добрых жителей Альби их жертву и, плача над окровавленным Каталаном, потащил его к церкви святой Сесилии.

По дороге, обнимая Каталана за плечи, говорил ему брат Вильгельм:

– Тебе нужно промыть раны, брат. Боже, что они с тобой сделали!

Но Каталан только мотал головой и шептал:

– Скорей, скорей!..

Брат Вильгельм думал, что Каталан торопится быстрее добраться до храма и обрести там безопасное убежище. Однако он, видимо, плохо знал Каталана.

Едва очутившись в церкви, Каталан оттолкнул от себя заботливые руки брата Вильгельма и бросился, шатаясь, к алтарю.

В храме святой Сесилии в этот час открылся церковный собор под председательством епископа Альби, ибо учреждение инквизиционного трибунала, наделение его всеми надлежащими полномочиями, снабжение необходимыми для ведения процессов

материальными средствами, координация действий магистрата и духовных властей и проч. и проч. – все это требовало всестороннего обсуждения.

Прерывая мерную речь епископа, Каталан завопил что-то невнятное, ибо губы его были разбиты и некоторые зубы шатались, а язык – прокушен. Вид Каталана был столь ужасен, что многие повскакивали с мест, не зная, что и предпринять. А Каталан, дрожа от нетерпения, сумел наконец выговорить те слова, что жгли ему сердце, и отлучил от Церкви весь Альби во главе с епископом, и сделал он это с превеликой горечью в присутствии всего духовенства и народа, беснующегося на берегу Тарна в нескольких шагах от церкви.

После этого, даже не умыв окровавленного, заплеванного лица, опираясь на руку брата Вильгельма, Каталан направился к выходу.

Городской нотарий Ротберт бросился догонять разъяренного монаха и, настигнув уже на самом пороге, метнулся ему в ноги, умоляя пощадить город. Каталан остановился. Обернулся. Епископ поспешил навстречу и, еще издали наклонив голову, приложился губами к кровоточащей руке Каталана.

Еле ворочая языком, Каталан проговорил:

– Мне безразлично, как здесь обошлись со мной. Но Альби оскорбил Церковь, а этого я прощать не уполномочен.

С такими словами Каталан отобрал у епископа свои руки и, хромая на обе ноги, решительно выбрался из церкви.

Глава девятая
АРНАУТ КАТАЛАН СЖИГАЕТ ЕРЕТИКА

Каталан любил свой монастырь в Тулузе. Никогда прежде за всю жизнь не было для Каталана на земле такого места, которое он назвал бы своим домом.

Ему даже дышать как будто легче стало, когда вошел в низкую церковь под деревянной крышей, ступил на черные каменные плиты пола и через среднюю дверь, раскрытую настежь, выбрался во внутренний двор, пристроенный к церкви, на полутемную галерею, а оттуда – к залитым солнцем зеленым грядкам, где Каталан с еще одним братом по имени Фома выращивал салат и целебные травы.

А как выбрался – так и повалился без сил лицом в распаренную солнцем зелень. Все-то избитое тело болело и ныло у Каталана, и всякий вздох отзывался в нем скорбью, и всякая пища, кроме самой жидкой кашицы на воде, резала живот, будто ножами, и третий день уже мочился Каталан кровью. Худо Каталану, почти невыносимо.

Тем временем Фома тоже пришел в сад и начал пропалывать грядки – сорную траву выдергивал, а целебную собирался оросить чистой водой из колодезя.

Был этот Фома ростом невысок, костью широк и крепок, а обращением так прост, что иному мог бы показаться и вовсе дураком. В монастыре он появился раньше Каталана, так что Каталану порой казалось, будто всегда обитал у этого колодезя коренастый неразговорчивый Фома.

И вот лежит Каталан без сил между грядкой с салатом и грядкой с мятой, а Фома, работая, все приближается и приближается. Наконец, вывалив в междурядье охапку сорняков и осыпав бездельно валяющегося Каталана комьями земли, говорит Фома как бы удивленно:

– Велики чудеса Твои, Господи! Какой огромный сорняк волей Твоей вырос у меня на грядках! Как же мне выкорчевать его, столь мощный? Да и укоренился он, поди, крепко! Ах, был бы со мной брат Арнаут Каталан, взялись бы мы с ним вдвоем за этот сорняк – глядишь, вместе бы и одолели!

Тут Каталан устыдился, пошевелился, стряхнул с себя вырванные Фомой сорняки и говорит:

– Да помилует тебя Всеблагая Дева, Фома! Это же я, Арнаут

Каталан!

Фома же, за щеки взявшись, как бы в глубокой печали, отвечал:

– Всяк простоватого Фому обмануть хочет! Неужто ты и впрямь мой брат Арнаут? Ни за что не поверю!

Каталан, охая и хватаясь то за спину, то за отбитый бок, кое-как поднялся на ноги и, не сказав больше ни слова, принялся помогать Фоме пропалывать грядки.

Так работали они никак не меньше часа, а потом Фома отвел его в трапезную и сам принес ему и себе по кружке холодного ягодного питья, и когда утолили они жажду, сказал Фома:

– Теперь я и вправду вижу, что ты – мой брат Арнаут Каталан!

***

На то, чтобы оправиться от побоев, принятых в Альби, были у Каталана остаток лета и почти вся зима; проводил он дни то занимаясь приготовлением лекарственных снадобий, то погружаясь в молитву, то молча прохаживаясь по галерее в обществе брата Фомы, чьей простоте Каталан не уставал дивиться.

Однажды, выйдя одновременно из своих келий, расположенных в одном коридоре на втором этаже, прямо над галереей, встретились они возле углового окна. Свет падал на географическую карту и список монастырей, висящие в простенке между дверей. Этот список, выполненный черными и красными чернилами и заключенный в простую деревянную рамку, насчитывал уже десяток названий.

И сказал Каталан, охваченный странным чувством умиротворения и восторга:

– В юности моей терзала меня, бывало, ненасытная жажда чуда, и часто случалось так, что увлекала она меня нечистыми путями. Теперь же смотрю на простое изображение земли и, кажется, иного чуда и не надобно.

А Фома сказал:

– Одно небольшое чудо нам все же не помешало бы, если никак иначе не унять твой ночной кашель.

Перегородки между кельями были ниже человеческого роста, чтобы братья могли находиться в постоянном общении, и Каталан, немилосердно кашляя по ночам, не давал заснуть остальным. Услышав, как Фома напоминает ему об этом, Каталан густо покраснел и отвернулся к окну. Уже зарядили осенние дожди, и в груди у Каталана саднило.

А Фома добавил бесхитростно:

– Возможно, с Божьей помощью у меня и получится сотворить такое чудо. Я просил у настоятеля разрешения для тебя пить на ночь горячее молоко.

***

В начале следующего, 1235 года по Воплощении, в Тулузе открылся постоянный инквизиционный трибунал. Провинциальный приор ордена счел разумным поручить ведение дел двум братьям проповедникам из монастыря Сен-Роман – Пейре Челлани и Арнауту Каталану, полагая обоих для этого достаточно проницательными и настойчивыми.

Совсем рядом с Нарбоннским замком и в двух шагах от храма Богоматери Белоцерковной брат Пейре Челлани имел дом, который подарил своему ордену. Там и подготовили место для трибунала: из пиршественного зала вынесли длинные столы и сколотили вместо этого ряды скамей, со стен сняли ковры, с потолка – резные украшения; в бывшей кухне позаботились забрать окна густыми решетками, а кладовую при кухне превратили в помещение для стражи.

Братья проповедники заручились неохотной поддержкой тулузских консулов, и те кое-как наскребли по городу десяток горожан, согласившихся участвовать в заседаниях трибунала в качестве официальных свидетелей, представляющих город. Среди них затесались две откровенно сомнительные личности, но когда Пейре сказал об этом наместнику графа Раймона, тот довольно резко отвечал, что иные с инквизицией сотрудничать не согласились.

– Любопытно мне также, где вы отыщете в Тулузе для себя доносчиков, – добавил он с насмешкой.

Брат Пейре, рослый человек лет пятидесяти, с угловатым лицом и большими залысинами, на этот укол никак не ответил, поскольку и без доносов хорошо знал, кого намерен арестовать и по какой причине.

Об открытии трибунала было оповещено в ближайшее воскресенье по всем церквам, а в среду, во втором часу пополудни, двери дома Челлани распахнулись. Желающих сообщить о местах тайных сборищ еретиков, разумеется, не находилось. Десять свидетелей, стража, двое братьев проповедников – все имели исключительно глупый вид, а Тулузе ведь только того и надобно! Весь четверг, всю пятницу потешалась и даже бросалась грязью в окна инквизиционного

дома, однако в субботу трибунал в полном составе вновь собрался на заседание. Кое-кто из свидетелей попытался на этот раз увильнуть, но брат Пейре, предвидя такой оборот событий, не поленился – навестил каждого и основательно запугал возможных ослушников.

Так продолжалось три недели, и насмешливая Тулуза успела разродиться десятком издевательских песенок.

Однако же на исходе зимы неожиданно было объявлено, что "по указанию нескольких лиц, чьи имена в интересах католической Церкви сохраняются в тайне", обнаружено большое змеиное гнездо еретиков и некоторые из преступников уже схвачены.

Город был ошеломлен. Иные пылкие горожане начали ненароком вглядываться в лица окружающих: не найдется ли среди прохожих и то лицо, которое указало на убежище катаров? Однако пока что в Тулузе все оставалось тихо. Город затаился, стал ждать: что дальше?

***

Холодный дождь изливался на Тулузу уже второй день; Гаронна вспухла, двускатная соломенная крыша Нового моста почернела; дома стояли в пятнах сырости, словно облезлые.

Раскисший под дождем садик был виден в пролет арок из зала заседаний капитула. Брат Фома, нарочно выбравший себе место поближе к выходу (а значит и к своему саду) зябко ежился. Тусклый свет проникал сквозь круглые окна под потолком и сквозь арки, открытые во внутренний двор монастыря.

Пейре Челлани говорил:

– Весь город ополчился на нас, и все нас ненавидят. Никто не согласится здесь доносить на еретиков, а между тем мы достоверно знаем, что они есть. Поэтому мы должны сами выследить их, а затем, как по нитке, вслед за первыми вытащим и остальных.

А молчаливый брат Вильгельм Пелли добавил:

– В Альби говорила нам одна женщина, что некто Риго Лагет настойчиво пытается совратить ее в свою ересь. Думается мне, что скрывается он где-то недалеко, между Альби и Тулузой.

Некоторое время спорили, высказываясь один вслед за другим и перебирая различные способы уловления еретика, а Фома, почти не слушая, все глядел на бесконечный дождь, так что к сидевшему рядом Каталану было обращено круглое ухо Фомы, наполовину скрытое густыми темными волосами. Когда же

высказались почти все, Фома вдруг заворочался на скамье, поднялся и молвил, смущаясь:

– Я думаю, надлежит нам, взяв десяток верных католиков, конных и при оружии, пройти предместьями.

Тут все разом зашумели, дивясь простоватости Фомы. Фома же, дождавшись, пока братья замолчат, добавил:

– Отряд этот пусть до поры скрывается, а вести поиск должен кто-то один, кого еретики сочли бы за своего.

Нет, нынче брат Фома превзошел самого себя! Кого же из братьев проповедников еретики за еретика примут? Да и подумал ли Фома, предлагая такое, какому нечестию может подвергнуться посланный на подобный розыск брат? Посылать же мирянина опасно – как бы не обольстили его сладкими речами и показной святостью.

Фома молчал, краснел. Тогда проговорил Арнаут Каталан:

– Сядь, Фома. Вижу я, настала моя очередь говорить. – И выждав, чтобы на него обратились все взгляды, так сказал Каталан: – Я могу войти к еретикам, и они не отличат меня от других еретиков, ибо некогда я часто имел с ними общение.

Для большинства братьев слова Каталана оказались новостью, ибо, за исключением немногих, они не знали его истории.

И спросил брат Лаврентий, который всегда глядел на Арнаута Каталана с восхищением и считал его примером для себя:

– Даже если ты и знаешь их нечестивые обычаи, как утверждаешь… Как же ты сможешь притворяться, будто они тебе не отвратительны?

Тогда Каталан назвал вторую причину, по которой именно он и никто другой должен взяться за такое дело:

– Я смогу притвориться. Я фигляр.

Брат Лаврентий громко вскрикнул:

– Не верю!

Ибо никак не вязалось в его представлении низменное фиглярское ремесло, замешанное на глумливом смехе, со скорбным обликом вечно хворого брата Арнаута Каталана.

Арнаут Каталан, нахмурив брови, спросил:

– Кто еще сомневается во мне?

Он посмотрел на братьев и увидел, что сомневающихся много. Тогда брат Арнаут оставил свое место на скамье в зале заседаний и быстрым шагом вышел на галерею. Остальные братья подошли к выходу и столпились в арках.

Каталан метнул на них мрачный взгляд и вдруг прошелся по галерее колесом. Затем встал на руки и медленно завел согнутые в коленях ноги себе на плечи. Белый подрясник Каталана

задрался, плащ распахнулся, черный капюшон свалился, и на ошеломленных братьев уставились одновременно костлявые желтоватые колени и хмурое лицо Каталана. Затем одним прыжком Каталан распрямился, поправил на себе одежду, подобрал капюшон.

– Я фигляр, – повторил он. – Я могу притвориться кем угодно. Это мое первое ремесло.

– Но тебе придется идти к еретикам переодевшись в чужое платье, – сказал ошеломленный брат Лаврентий. – Неужели ты сможешь сделать и это?

Каталан помолчал немного. Братья проповедники носили одежду общинных каноников с одной лишь разницей: ни днем, ни ночью, ни в час смертный не расставались они с белым нарамником, сходным с тем, что принят у восточных монахов, ибо его даровала им сама Пресвятая Дева.

Поразмыслив немного, сказал Каталан:

– Я сделаю и это, а вы определите для меня наказание.

И встав на колени, распростерся на каменных плитах.

И настоятель, посоветовавшись с братьями, вышел к Каталану и сказал:

– Встань, брат Арнаут, и ступай выполнять задуманное. Мы определим тебе наказание.

***

Вот как получилось, что несколько дней спустя под вечер в предместье Эстретефонда въехал всадник, одетый небогато, как торговец средней руки, отправляющийся в недолгую поездку. Он изрядно промок под дождем и время от времени принимался кашлять. Не решаясь долго блуждать по улицам в такую погоду, он завел коня под навес первого же дома и, постучав, попросил отворить.

Дверь приоткрылась, и чья-то рука поспешно сунула Каталану грош. Каталан придержал дверь.

– Да благословит тебя Бог за эту милостыню, добрый человек.

Дверь, перестав сопротивляться, распахнулась. На пороге стоял немолодой человек и щурил глаза, пытаясь разглядеть вечернего гостя.

– Если ты не нищий, – сказал он наконец, – то зачем бродишь под дождем и стучишься в незнакомые дома?

– Я ищу добрых людей, – сказал Каталан. Это было уже четвертое предместье, где повторялось одно и то же. – Вот почему я брожу один под дождем и стучу в ожидании, что отворится мне.

– Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с тобой, – без колебаний отвечал хозяин дома, и сердце Каталана радостно стукнуло. – Ты найдешь тех, кого ищешь, на улице Богоматери Полей, второй дом от угла, с одним окном по фасаду.

– Да наградит тебя Бог по заслугам твоим, – промолвил Каталан, сам не зная, какой смысл вкладывает в эти слова.

Затем он снова сел в седло и отправился на улицу Богоматери Полей.

***

Когда Каталан постучался в дверь указанного дома, сумерки уже сгустились. В темноте слышно было, как шумит дождь, да хлюпает вода под копытами, да фыркает недовольная лошадь.

– Благословен Господь наш Иисус Христос, – обратился Каталан к слуге, открывшему дверь. – Меня прислала добрая женщина Беренгьера де Кунь, чтобы я передал некоторую часть денег тем, кто несет свет во тьму, веру в мир неверия, спасение погибающим.

Каталана тотчас же впустили, предоставив его самого заботам хозяина дома, а лошадь его – заботам слуги. Согревшийся теплым вином, переодетый щедростью хозяина в сухое, Каталан был допущен в жилые покои, где несмотря на поздний час горели свечи и несколько человек негромко переговаривались между собой.

Каталан остановился на пороге и спросил:

– Кому я должен передать деньги от доброй женщины Беренгьеры из Альби в обмен на благословение?

С этими словами он вытащил из-за пазухи мешочек с деньгами и встряхнул его. Никто не обратил на Каталана внимания, только один человек молвил равнодушно:

– Положи на стол. Это деньги Господа.

– Воистину так, – пробормотал Каталан.

Он сделал как ему велели и тихонько устроился в углу, постаравшись, чтобы о нем забыли. Время от времени он поглядывал на мешочек, но тот оставался на столе – к деньгам никто не прикасался. А потом мешочек вдруг исчез, но когда и как это произошло – не уследил даже наблюдательный Каталан.

Затем пришел еще один человек, ослепительно бледный, в черных одеждах, и все разом замолчали. Он обвел собравшихся глазами и улыбнулся доброй светлой улыбкой. Тотчас же люди, сколько их было в комнате, преклонили колени и получили благословение, после чего обменялись поцелуем мира, а слуга

внес корзину с хлебами.

Поднимаясь с колен, Каталан мысленно обратился к своему товарищу Вильгельму, который должен был проследить, в каком доме сейчас находится он, Каталан, и отправиться за подмогой к отряду, ждущему в получасе езды от Эстретефонды. Ибо страх Каталана перед "совершенным" все увеличивался и бороться с этим оказалось невыносимо; воззвать же к Богу за помощью Каталан не решался – он был почти уверен в том, что "совершенный" легко может проникнуть в его мысли. И потому сидел Каталан, забившись в угол, и укрощал гневную душу свою, чтобы она не возмутилась и не выдала его.

А отряд, должно быть, уже получил весть и мчится к предместью…

И вот закончил "совершенный" Риго Лагет проповедь и молвил, благословляя хлебы в корзине:

– Благословен будь, именем Господа нашего Иисуса Христа, сей хлеб жизни и сие печево истины! Господь наш Иисус Христос! Да войдет хлеб сей жизнью в уста всех истинно верующих и да изблюется он со желчью и кровью из уст нечестивых, предавшихся врагу человеков и исповедующих ложно!

С этими словами "совершенный" разделил первый хлеб и раздал половинки налево и направо. И так, разделяясь, шествовал хлеб из рук в руки, пока самый малый кусочек, который и делить уже было не нужно, не попал к сидящему с края Каталану. И все вложили хлеб в уста и стали жевать. Каталан хотел уклониться и только сделать вид, что ест, но сосед его вдруг странно глянул и спросил:

– Что ты робеешь, добрый человек? Разве не прислала тебя верная наша, Беренгьера из Альби? Разве не истолковала она тебе смысл нашей трапезы? Не хлеба ли спасения пришел ты вкусить?

– Воистину так, – отозвался Каталан и под пристальным взглядом соседа поскорее запихал хлебец в рот и, не жуя, проглотил.

Тем временем разговор за столом повернулся к бытовым делам общины: называли имена просящих об утешении, перечисляли дома, где есть больные, к которым необходимо направить врачей, называли размеры и содержание взносов в имущество общины, упомянули при этом и имя Беренгьеры из Альби – похвалили ее за щедрость.

Тут один человек обрадованно воскликнул:

– Я же говорил вам, добрые люди, что мне удастся ее обратить!

Каталан понял, что это, должно быть, и есть тот самый Бростайон… Но ничего больше он подумать не успел, ибо

внезапно его охватила дурнота, в глазах у Каталана потемнело, в ушах отчаянно зашумела кровь, и схватившись обеими руками за живот, он перегнулся пополам и громко замычал от боли. И когда все глаза обратились на него, Каталан вдруг начал неудержимо блевать кровью и желчью. Судороги сотрясали все его тело, пока хлебец не вышел из его утробы. Тогда Каталан затих, обтирая лицо и плача.

Лагет поднялся со своего места, стремительно подскочил к Каталану и вцепился в его плечо.

– Иуда! – воскликнул "совершенный". – Ты проник на нашу братскую трапезу со злыми мыслями!

Но Каталан ничего не мог говорить и только слабо постанывал. В животе и в горле у него все было будто исцарапано когтями.

Удерживая Каталана, Лагет обратился к собравшимся:

– Мы говорим, что не должно проливать крови ни одного живого существа – ни зверя, ни птицы, ни человека. Но сей змий вполз к нам в дом, обманув наше доверие, и принял обличие человека; проливать же кровь гадов дозволительно.

Каталан слегка шевельнулся в руках Лагета. Тот поглядел на него презрительно и заключил:

– Впрочем, он умрет и без пролития крови, дабы никто не был этим смущен. Свяжите его хорошенько и подвесьте вниз головой.

Тот же слуга, что заботливо подносил Каталану на кухне вино и помогал сменить мокрую одежду на сухую, стянул руки Каталана грубой веревкой и, продев свободный конец веревки пленнику между ног, ловко опутал его щиколотки, после чего подвесил к массивной потолочной балке на кухне рядом со свиным окороком.

Зная, что неизбежно ожидает его мучительная и долгая смерть, Каталан, уже не скрываясь, принялся выкрикивать сдавленным голосом:

– Pater noster qui in caelis! Es sanctificetur nomen tuum!

И вдруг, видимо, привлеченный католической латынью, одиноко и неуместно раздающейся в еретическом логове, ворвался на кухню какой-то человек и одним махом перерубил обе веревки, так что Арнаут Каталан и свиной окорок упали на пол одновременно. От удара Каталан потерял сознание; когда же очнулся, то увидел рядом с собою брата Вильгельма.

– Слава Богу! – сказал Вильгельм. – Мы подоспели вовремя.

Каталан подхватился было вскочить да бежать наверх, но Вильгельм удержал его. Тогда Каталан спросил жадно:

– Всех схватили?

– Двоих. Один убит.

– Их было больше, – мрачно сказал Каталан. – Помоги мне встать, брат, ибо ноги, кажется, опять не хотят служить мне опорой. Как же это вышло, что вы упустили столь многих?

***

Из еретического дома забрали всю найденную там одежду и деньги; ставни и двери забили и под утро двинулись обратно в Тулузу. Дождь уже, по счастью, перестал, хотя теперь задул холодный ветер. Среди захваченных был Риго Лагет. Каталан скрипел зубами, глядя, как "совершенный" идет между двух коней, привязанный за левую руку к седлу одного всадника, а за правую – к седлу другого.

Город встретил их молчанием. Арестованных препроводили в тюрьму инквизиторского дома и заперли там, а Каталан, пошатываясь, явился в монастырь и объявил братьям, что измаран нечистотами снаружи и внутри, после чего рухнул на пороге церкви и наотрез отказался вставать.

Так пролежал он остаток дня и всю ночь, а возобновившийся дождь нещадно поливал его холодными струями. Наутро, по распоряжению настоятеля, подступили к нему брат Фома и брат Лаврентий и, разорвав на Каталане одежду, как следует отходили его плетьми. Согрев таким образом остывшую кровь упрямого своего собрата, заставили они его выпить жидкой каши, после чего перетащили в постель и закутали одеялами, ибо Каталан весь одеревенел и не мог даже двигаться.

***

Суд над захваченными в Эстретефонде еретиками открылся с наступлением весны. Пейре Челлани предложил судить их не инквизиционным, а публичным судом, ибо вина арестованных была очевидна и оправдание их вряд ли возможно.

Стоило посмотреть, как в большом зале бывшего дома Челлани, за длинным столом, лицом к рядам скамей, рассаживались мрачновато-торжественные доминиканцы – рослый, угловатый брат Пейре и долговязый Каталан с красными пятнами на острых скулах. За отдельным маленьким столиком устроился нотарий, румяный от волнения. Вдоль стены выстроились одетые в черное официальные представители городского самоуправления. Гремя оружием и переговариваясь, заняла свое место у входа и окон стража трибунала.

Жители славной Тулузы полагали, что упускать подобное зрелище, для города совершенно новое, поистине грешно, поэтому от желающих проникнуть в зал отбоя не было. Разумеется, допущены были самые именитые; прочим же предоставлялась полная свобода торчать под окнами и выкрикивать угрозы в адрес инквизиторов.

Имена и степень вины обвиняемых были установлены, расследование их преступных деяний произведено, однако для передачи осужденных в руки светской власти требовалось соблюдение некоторых формальностей.

Челлани имел право осудить их и без допроса, на основании одних лишь свидетельских показаний, однако счел открытый процесс более полезным для тех в Тулузе, кого еще можно спасти.

И вот под стражей ввели сперва одного арестованного – Риго Лагета, который ступал босыми ногами скромно потупив взор, а следом – второго, известного под именем Иоанн, бородатого, вшивого, одетого в рваную мешковину, с язвами на руках и ногах – от чрезмерного воздержания.

Следом внесли Бростайона. Однако не следует думать, будто внесли его потому, что ноги Бростайона были изувечены пытками или потому, что он обессилел вследствие жестокого обращения тюремщиков. Вовсе нет! Бростайона внесли потому, что сам по себе Бернар Бростайон как таковой на суде отсутствовал и был представлен на процессе чучелом, сделанным из той одежды, что забрали из еретического дома. Чучело хрустело соломой и слепо таращилось нарисованными глазами. На груди у него был пришит лоскут ткани с именем.

Точно так же были явлены судьям Гугесьон из Кастельнодари, Коньост из Сен-Альбана, Мервиль, Кассьер из Альби и Бернар из Сальветата, в прошлом цистерцианский монах из аббатства Гран-Сельв.

Вид этих соломенных чучел, усаженных в ряд на скамью подле живых обвиняемых, вызвал у зрителей торжествующие смешки.

Брат Пейре встал и громко вознес молитву к Богу, прося не оставить слуг Своих и ниспослать им сил и разума разобраться в столь сложном и запутанном деле, после чего Каталан зачитал обвинительный акт, начав с отсутствующих:

– Гугесьон из Кастельнодари, – обратился он к чучелу, сидевшему рядом с лохматым Иоанном. – Вы обвиняетесь в следующих преступлениях: вы принимали участие в еретических обрядах, слушали поучения ересиархов, преклоняли перед ними колени и получали от них благословение, ели освященный ими хлеб, снабжали их продуктами, одеждой и всем необходимым для

жизни. Таким образом, на основании двадцать шестого канона Нарбоннского поместного собора Католической Церкви 1233 года по Воплощении Слова, вы можете быть осуждены без допроса на одном только основании свидетельских показаний, которые представлены на настоящем процессе. Тем не менее, не считая возможным избегать публичного оглашения вашей вины, которую вы подтвердили вашим поспешным бегством, я спрашиваю вас: действительно ли вы виновны во всех тех преступлениях, которые были перечислены в присутствии всего города Тулузы?

Каталан поглядел на чучело Гугесьона. Чучело, слегка привалившись к плечу Иоанна, пучило незрячие глаза и скалило безмолвный рот. В облике болвана вдруг мелькнуло что-то зловещее. Казалось, он вот-вот оживет.

Выждав паузу, Каталан заключил:

– Да смилуется Господь над Гугесьоном из Кастельнодари и да ниспошлет Он ему прощение грехов, если, по бесконечному милосердию своему, сочтет такое возможным! Гугесьон из Кастельнодари! Вы обвиняетесь как уличенный в ереси и передаетесь в руки светской власти для совершения над вами надлежащей казни.

К чести Гугесьона надо сказать, что он не остался совсем безразличным к подобному приговору: пошевелившись, чучело вдруг рухнуло на пол, как бы потеряв сознание.

Следующим был осужден Коньост из Сен-Альбана. Он обвинялся в том, что преклонял колени перед "совершенным", участвовал в трапезе еретиков, слушал их поучения и, видимо, вполне разделял их богомерзкое учение. Если бы названный Коньост из Сен-Альбана добровольно явился в трибунал и заявил о своих заблуждениях, прося духовной помощи, его действия могли бы быть определены как богохульство, проистекающее от легкомысленного отношения к вере и недостаточного знакомства с католической догматикой. Однако вооруженное сопротивление, оказанное страже инквизиции, следствием чего явилась смерть означенного Коньоста, доказывает, что заблуждения названного Коньоста были его сердечной верой и таким образом самая память еретика подлежит осуждению, а его дом – конфискации.

Чучело не возражало.

Третьим выслушал приговор Мервиль, квалифицированный как соумышленник, оказывавший содействие распространению ереси, поскольку исполнял различные просьбы еретиков. Мервиль был тем самым слугой, что вязал Каталана. Желая быть справедливым, Каталан сообщил болвану Мервиля, что оригинал во плоти мог отделаться пятилетним покаянием и паломничеством, но, предпочтя бегство, он сам осудил себя

плачевной участи.

Таким образом на смерть был осужден также Бернар из Сальветата; что касается Кассьера, то его инквизиция сочла возможным частично оправдать, поскольку ни в трапезе, ни в обрядах он не участвовал, а если когда-либо и участвовал, то свидетелей тому не нашлось. Это был врач, который навещал больных еретиков и оказывал им помощь, за которой те не смели обращаться ни к католикам, ни к евреям. Кассьеру было предложено, где бы он ни находился, принести искреннее покаяние и вернуться в лоно католической Церкви.

После этой сентенции чучело Кассьера публично выпотрошили, сняв сперва соломенную голову, солому вытряхнули на пол, а штаны и рубаху сложили на скамье.

Каталан сел, свернул пергаменты и, прикрыв глаза, безмолвно погрузился в молитву.

Тем временем поднялся Пейре и обратился к "совершенному" Лагету:

– Риго Лагет, признаешь ли ты, что это твое подлинное имя?

Лагет поднялся со скамьи, пряча руки в рукавах и склонив голову.

– Да, – ответил он спокойно.

– Признаешь ли ты себя еретиком?

Лагет медленно поднял голову.

– А ты? Ты, называющий себя братом Пейре, – признаешь ли ты себя исповедующим ложное вероучение?

– Нет! – резко сказал Пейре.

– И я нет, – отозвался Риго Лагет. – Я верую в Единого Доброго Господа, в спасение души, в наказание виновных, в обетование небесного блаженства для верных. Я веду праведную жизнь, как и все мои собратья, я не оскверняю рук моих ни чужой кровью, ни прикосновением к женщине. Я чист и не найдется ни одного человека, который видел бы меня запятнанным, ибо ни единого часа жизни моей я не провел в уединении без свидетелей.

Брат Пейре проговорил хмуро:

– Показной набожностью, сладкими обещаниями, постным видом и ловкими речами подобные тебе и улавливают доверчивые души! Не ты ли вымогал имущество у одной вдовы в Альби? Не ты ли настойчиво завлекал ее в общину, пытаясь запугать?

– Я пекся о сестре, – отвечал Лагет. – Какое тебе дело, поп, до сестры моей?

– Не ты ли совращал людей в ересь, разбивая семьи и уводя мужа от жены, как было проделано с семьей Бростайона?

– Разве не сказано у апостола: "Добро человеку жены не касатися"? – тут же ответил Лагет.

– Не властью ли врага человеческого заколдовал ты хлеб, когда раздавал его на трапезе в доме Коньоста?

– Во время последней вечери знал Иисус, что среди сотрапезников Его – предатель, и опустивший с Ним руку в блюдо предаст Его. Разве не говорил Он ученикам Своим: "Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою"? Наша братская трапеза создана по примеру апостольской, ибо мы отвергаем ваши пышные языческие богослужения.

– Довольно! – молвил Пейре. – Риго Лагет обвиняется в открытом исповедании еретического учения, в проповедании его, в совращении католиков, в отправлении нечестивых обрядов и в гласном союзе с дьяволом.

Лагет выслушал это не моргнув глазом и проговорил только:

– Да смилуется Господь над Тулузой, если она отдана во власть злобно лающих псов, а праведные изгнаны!

Это вызвало шум среди зрителей. Многие вскочили с мест и ринулись вперед, чтобы немедленно освободить арестованных. Стража преградила им дорогу, выставив копья и мало-помалу оттеснила взволнованных именитых граждан из дома инквизиции. На улице, запруженной народом от дома инквизиции до самого храма Богоматери Белоцерковной, они присоединились к толпе и немало подогрели ее рассказом о случившемся.

Иоанна осудили уже при пустом зале. Выслушав смертный приговор, оба "совершенных" обнялись и обменялись долгим поцелуем. Глядя на этих лобызающихся мужчин, одного как бы сияющего, другого завшивленного, в расчесанных язвах, Каталан вдруг ощутил дурноту.

Им связали руки и, угрожая толпе оружием, провели по улице до кафедрала Сен-Этьен, где размещались епископская резиденция и городская тюрьма – более надежная, чем инквизиционная.

Город шумел и волновался.

Каталан и Пейре следовали за осужденными, а со всех сторон их тесно окружала стража. Иоанн вопил, не переставая:

– Я добрый христианин! Смотрите, добрые люди! Смотри, Тулуза! Смотрите, как проклятые монахи мучают добрых христиан!

В монахов летели комья грязи и отбросы, а пожелания так и сыпались:

– На костер псов Доминика!

– Содрать с них кожу!

– Сжечь их осиное гнездо!

– Распять их!

– Разрезать их на куски!

Каталан крикнул брату Пейре:

– Сейчас полетят камни!

Брат Пейре широко и зло улыбнулся.

– Тогда умрем как святой Этьен!

Оба расхохотались, так что даже Иоанн на мгновение замолчал и поглядел на монахов как на сумасшедших.

Еле добравшись до собора Сен-Этьен и заточив пленников в надежную тюрьму, оба доминиканца остались в резиденции епископа, поскольку выходить на улицу сейчас представлялось опасным.

Прежний тулузский епископ Фалькон умер за несколько лет до этого и был похоронен в часовне аббатства Гран-Сельв, недалеко от Тулузы; новый носил то же имя, что и тулузский граф – Раймон, но не отличался ни силой характера своего предшественника, ни боевитостью своего тезки. Тем не менее он дал братьям проповедникам вполне здравый совет не приводить приговор над еретиками в исполнение, поскольку в таком городе, как Тулуза, это может привести к разрушительному бунту.

***

Таким образом лишь наутро после памятного заседания трибунала Пейре и Каталан вернулись в свой монастырь. Брат Пейре сразу засел писать отчет о происшедшем; Каталан же отправился в сад и там уселся возле колодезя, бездумно глядя на грядки, покрытые уже нежной зеленью всходов. А потом он как-то вдруг, сразу, увидел, что рядом с ним сидит еще один человек, и был этот человек Каталану знаком.

И сказал ему Каталан:

– Как вы прошли сюда, мастер Менахем?

Удивительным показалось Каталану только это; все же прочее – и то, что за все эти прошедшие годы старый иудей ничуть не изменился, и то, что, мертвый, он вновь оказался среди живых, – почему-то ничуть Каталана не озадачивало.

– Ты, никак, не рад мне, Арнаут Каталан? – спросил мастер Менахем.

– Рад, – неуверенно отвечал Каталан. – А вы разве не сердитесь, мастер Менахем, за то, что я обокрал вас?

– Не сержусь, – хмыкнул старый иудей. – Наследники мои от этого никак не обеднели; ты же не употреблял мои снадобья во

зло.

– У нас с братом Фомой тут хороший огород, – похвастал Каталан бесхитростно. – Мы посадили в нынешнему году и салат, и красную капусту, а на тех грядках у нас майоран и петрушка.

– Молодцы, – похвалил мастер Менахем. – А ты, как я погляжу, стал суров к инаковерию?

– Ни евреев, ни сарацин мы не трогаем, пока те не совращают в свою веру католиков, – сообщил Каталан.

Мастер Менахем вздохнул.

– Молодец, – повторил он рассеянно. – Говорит мудрейший Абрахам бен Эзра: "И станет он убийцей и склонным к угнетению других; и будет он гневлив и лжив; и будет он палачом, склонным к печали; и будет он решителен; и станет он привержен чести; и люди станут следовать за ним на путях его"…

– Это он все обо мне говорит? – удивился Каталан.

Еврей не ответил. Пожевал губами в бороде и молвил неожиданно:

– Помнишь, Каталан, ты все хотел вызнать, что такое "палач с Кораном в сердце"?

– Я не желаю вас слушать, господин! – вскричал Каталан. – Зачем вы пришли? Зачем вы меня смущаете?

– А? – Старый еврей обратил на своего бывшего слугу ясные, почти детские глаза и вдруг признался: – Я и сам не знаю… А это христианский монастырь? Как же я сюда вошел? Мы ведь с тобой нарушаем сейчас твой… Как вы, франки, называете свои правила?

– Нет, – сказал Каталан. – По нашему уставу, я могу разговаривать с людьми, непричастными к ордену, даже в стенах монастыря.

Иудей все размышлял о чем-то, все пытался что-то вспомнить, и наконец лицо его прояснилось – морщинки разбежались от глаз:

– Вспомнил! Ты ведь кашляешь, Каталан?

– Да.

– И в моче бывает кровь?

– Да.

– Нехорошо! – Мастер Менахем покачал головой, погладил бороду хорошо знакомым Каталану движением и сказал решительно: – Попробуй вот что: каменной петрушки четыре драхмы, да семян сельдерея, укропа и имбиря по четыре драхмы, да перца девять зерен измельчить и, растерев с вином, прикладывать к телу. Это должно помочь.

И встал.

– Вы за этим и приходили, господин? – спросил Каталан.

– Да, – ответил старый иудей и засмеялся. – Прощай,

Каталан!

И Каталан проснулся.

***

В тревогах и бездействии минул месяц; незадолго до Пасхи Риго Лагет попросил встречи с кем-нибудь из доминиканцев, и в тюрьму к осужденному еретику явились Каталан и Пейре.

Иоанн, прикованный за буйство к стене, при виде монахов хрипло зарычал:

– Иродиада пришла! А, пришла, пришла Иродиада! Пляшет, пляшет! Требует головы Иоанна!

– Замолчи! – не выдержал брат Пейре, и Иоанн тут же впился в него страшным горящим взором.

– Пляшет, пляшет! – выкрикнул он, дергая цепь и корчась. – И отдадут ей голову Иоанна, ведь она пляшет!

Каталан и Пейре миновали беснующегося Иоанна и подошли к Лагету. Тот лежал на соломе, не шевелясь.

Риго Лагет исхудал еще больше и сделался таким мертвенно-бледным, будто никогда не бывал на солнечном свете. Брат Пейре, стоя над ним, позвал:

– Риго Лагет, ты просил о встрече.

Лагет открыл глаза.

– Один Иуда, другой Иродиада, – прошептал он. – Тем лучше.

И замолчал.

Брат Пейре подождал немного, а затем осторожно спросил Лагета:

– Не хочешь ли ты принести покаяние?

Лагет мелко затрясся на соломе, заквохтал – засмеялся.

– Ох, утомил! – вымолвил он наконец. – Нет, я позвал вас для иного, собаки. Я хочу произнести над вами проклятие, вы, псы злого бога. Слушайте! Будете вы прокляты в памяти тех, кого любите, и в помыслах тех, для кого трудитесь! Имя ваше сделается грязью, а дела ваши станут пылью, и будет плевать вам вослед Тулуза, и ненавистны вы будете в Альби, и уничтожат вас в Фуа, и сотрут вас в Безье, и вычеркнут вас из книги жизни в Каркассоне – во веки веков будьте вы прокляты!

И молча ушли от Лагета оба монаха.

Наутро Лагет был мертв. Тюремщик, который нашел его уже остывшим, говорил потом брату Пейре, будто из широко раскрытых глаз "совершенного" глядел сам дьявол. Да, дьявол! Когда он, тюремщик, опускал покойному веки, дьявол норовил укусить его за палец! Так и лязгал, засев в зрачках мертвеца, так

и скрежетал зубами!

***

При полном молчании Тулузы воздвигли помост и установили два столба для осужденных, привезли и навалили вязанки хвороста и дрова, выставили стражу. Затем под рев труб и нестройный гвалт колоколов от епископской резиденции к Саленским воротам двинулась телега со сплошными высокими бортами. Четыре всадника охраняли ее, а пешие копейщики шли по пять человек спереди и сзади. В телеге же бесновался связанный Иоанн, а вокруг него подпрыгивали и тряслись чучела, набитые соломой и одетые поверх рубах и штанов в белые балахоны кающихся. Их соломенные волосы торчали клочьями, размалеванные лица глумливо лыбились. Никак не желали они ехать смирно! Труп Лагета лежал на полу телеги – усохший, странно маленький, и сам похожий на куклу – и упрямо приоткрытыми глазами равнодушно поглядывал на Иоанна.

Вот так миновали и храм Богоматери Белоцерковной, и дом инквизиции; оставили по правую руку сожженный некогда Амори де Монфором Нарбоннский замок и вышли на Саленскую площадь – ровное место перед воротами.

Двое стражников ухватили Иоанна за связанные руки и поволокли из телеги. Иоанн же смеялся, тряс головой и цеплялся ногами за борт. В свалке телегу опрокинули, и все – чучела, труп, бьющийся в путах Иоанн и стражники – кучей повалились на землю. Наконец пересилили Иоанна, ударив его в висок тупым концом копья, и обвисшего мешком подтащили к помосту и накрепко привязали к столбу. Всего веревками обмотали, от шеи до щиколоток, чтобы и пошевелиться не мог.

Дальше дело пошло быстрее, ибо прочие осужденные не проявляли никакого упрямства и вовсе не сопротивлялись правосудию. Тело Лагета, тяжелое, как бревно, несмотря на малость роста, привязали рядом с Иоанном, с другой стороны столба. Соломенных же еретиков рассадили у второго столба в кружок и прихватили их одной общей веревкой, дабы не рассыпались.

Тулузцы стояли молча – вся площадь, вся насыпь, возведенная вместо срытых каменных стен, створ улицы в воротах – все было полно народу.

Капеллан из кафедрала Сен-Этьен в последний раз вознес над головами распятие, после чего два факела в руках стражников поклонились вязанкам хвороста, и костры занялись.

Солома пылала ярко и весело. От белых балахонов поднялся черный дым. Размалеванные личины корчили в огне отвратительные гримасы.

Иоанн вдруг ужасно и осмысленно закричал, словно в последнее мгновение жизни безумие оставило его, после чего уронил голову на грудь и затих.

Каталан, стоявший среди прочих монахов возле самого помоста, упал на колени и закрыл лицо руками. Когда все было кончено, брат Фома решился наконец его потревожить и отвел горячие, покрасневшие от жара костра ладони Каталана. Лицо бывшего фигляра было залито слезами.

Глава десятая
АРНАУТ КАТАЛАН ЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ

В середине лета 1235 года, по воле легата святейшего Папы архиепископа Вьеннского, брат Арнаут Каталан возглавил трибунал Тулузской инквизиции.

Глаза бы не видели этого Арнаута Каталана. Долговязый и истощенный, со взглядом голодным, с пятнами больного румянца на скулах, в заплатанном белом подряснике – вот таким ворвался в Капитолий Тулузы, пыля подолом и шлепая рваными сандалиями по гладкому полу. Ворвался – и швырнул под нос господам членам городского капитула список еретиков, подлежащих немедленному аресту; общим числом сорок человек. Арестовать же их надлежало светским властям, дабы незамедлительно передать в руки духовных.

В Капитолии было прохладно – той зябкой прохладой, что царит в жару в полутемных каменных зданиях. А от Каталана жаром несет; но когда приблизился он, то не плотью от него пахнуло – тленом; не потом пахло тело – прахом.

И проговорил Каталан отвратительным скрипучим голосом:

– Эти люди в течение семи дней должны быть доставлены в тюрьму трибунала.

Капитул взволновался. Сорок человек! Это слишком много!

Каталан покривил губы.

– Половина из них мертвы. Потрудитесь прочесть список как следует. Вон те, во второй половине списка. Их тела подлежат удалению с кладбища.

Невозможно!.. Тулуза!.. Бунт!..

А Каталан все скрипел и скрипел:

– Святая инквизиция милостиво берет на себя труд удалить с кладбищ нечистоты, тогда как согласно постановлению поместного собора в Нарбонне от 1233 года по Воплощении, выкапывать означенные трупы еретиков обязаны те нечестивцы, которые посмели похоронить их там, после чего названные нечестивцы должны подвергаться отлучению…

Но поскольку капитул упорно не желал видеть в требованиях Каталана каких-либо милостей и послаблений и находил их безрассудными и чрезмерными, то беседа оборвалась сама собой, причем на весьма визгливой ноте. Отец инквизитор велел арестовать по крайней мере живых – список прилагается – и выделить инквизиции еще десять человек копейщиков. А затем, не прощаясь, повернулся и зашагал к выходу. Заседавшие в

Капитолии с бессильной ненавистью глядели, как болтается на спине Каталана опущенный капюшон.

Ушел.

Уф! Легче дышать стало. Взяли список, перечитали, передавая из рук в руки. Волнуясь, заговорили. Было, о чем беспокоиться.

***

На следующий день Каталан действительно получил от капитула десять копейщиков и невозмутимо привел их к присяге. И сказал им Каталан словами Писания:

– "Смотрите – не ужасайтесь".

***

В наказание за грехи наши, не иначе, послал Господь такую жару! Кладбище оцеплено, сверкание копейных наконечников ест глаза, пыль забивает рот, браниться мешает. А бранить охота все подряд: и неугомонных попов, затеявших эту нелепицу – кости мертвых тревожить, и еретиков – сдалось им не в того Христа веровать, в какого надобно, а в какого-то другого. Но особенно мечталось обругать оглоблю эту мрачную, Каталана, который не дает честным людям пересидеть самое палящее время суток в тени и прохладе.

Били заступами в пересохшую землю, опрокидывали могильные камни, обнаруживая под иными целые города разных червяков и козявок и учиняя им, таким образом, подлинный червячий Армагеддон.

И летели в большой деревянный ящик куски сгнивших гробов и кости вперемешку с комьями земли и проклятиями. Будь проклятия булыжниками – никакая лошадь не смогла бы сдвинуть этот ящик с места!

Наконец наполнили ящик, тужась, подняли и потащили к воротам кладбища, туда, где терпеливо ждала лошадь, запряженная в телегу. К морде лошади привязан мешок, а в телеге сидят на вязанках заранее заготовленного хвороста возница и Каталан.

Поглядел Каталан, щурясь, на красных, потных, злых гробокопателей, молча спустился с телеги на землю. Два дюжих молодца забрались принимать ящик, трое снизу, надсаживаясь,

подняли груз наверх.

Вот так поставили и тронулись в путь. Каталан пошел сбоку. Стража окружила его, заранее щетинясь копьями.

А Каталан не изверг вовсе был, что по такому пеклу людей работать заставил. Просто знал, что даже Тулуза по жаре раскиснет и бунтовать не захочет. Не живых ведь на смерть ведут – мертвых! А ради мертвых, да еще в палящий полдень, немногие в драку полезут.

Так оно и вышло. Молчала Тулуза. И зрителей на зрелище не нашлось.

Топала стража, скрипели колеса, стучали копыта. Возница, обливаясь холодным потом, все слушал и слушал, как за спиной у него тихонько переговариваются в ящике мертвые кости. Только слов разобрать не сумел.

На въезде в улицу, проложенную на месте старицы Гаронны, ожидал городской герольд и с ним два барабанщика, почти утонувшие в своих огромных барабанах. Все трое от пота лоснятся; красные с золотыми тулузскими крестами одежды – в темных потеках.

Возница натянул вожжи. И шествие двинулось дальше медленно, под мерный гром барабанов. Каждые двадцать-тридцать шагов останавливались. Барабаны замолкали, а герольд возглашал зычным голосом:

– Oui aytal fayra – aytal payra! [1]

Затем, после мгновенной оглушительной паузы возобновлялся барабанный бой, и процессия двигалась дальше.

Так прошли они городскими улицами, миновали Капитолий, возле которого нарочно останавливались три раза, обогнули приход Сен-Сернен, где жители питали особенную ненависть к франкам, и завершили круг, вернувшись к Саленским воротам.

За городской чертой вытащили из телеги ящик и обложили его хворостом. Каталан встал на колени и громко воззвал к Господу, прося судить не по справедливости, но по бесконечному милосердию Своему, после чего замолчал и закрыл глаза.

И подожгли хворост, и исчезли в огне бренные останки еретиков, а Каталан все не открывал глаз. И никто не осмеливался его тревожить, ибо столь глубоко погрузился он в молитву, что как бы отсутствовал на земле.

Но когда догорел костер и от ящика с костями осталась лишь гора горячей золы, вдруг вскочил Каталан на ноги и метнулся к телеге. С торжествующим смешком подобрал он там последнюю вязанку хвороста, самую жидкую и маленькую, которую почему-то не бросили в костер, после чего стремительно побежал обратно к пепелищу.

А стража стояла неподвижно и тщилась, как было приказано, не ужасаться.

Громко распевая первые стихи Евангелия от Иоанна, начал Каталан махать хворостинами, разметывая золу. Рукава, подол, капюшон, белый нарамник – весь Каталан, казалось, развевался, будто на сильном ветру стоял. Зола черным облаком окутывала его и не хотела улетать, ибо стояло полное безветрие. Но Каталан упрямо мел ее прочь по земле и в конце концов отчасти преуспел. И сам черный, как мавр, в пятнах, без сил пал на телегу – но губы его продолжали шевелиться, проговаривая:

– In principio erat Verbum; et Verbum erat apud Deum; et Deus erat Verbum… Et lux in tenebris…

И отвезли Каталана в монастырь.

И спросил его там брат Фома:

– Отчего ты стал так черен, брат?

И ответил ему Каталан:

– Я измаран чужими грехами.

Но Фома покачал головой и молвил:

– Не под силу тебе, брат, взять на себя все грехи этого мира или даже одной только Тулузы. А давай-ка я отведу тебя на берег да умою…

***

Вторично увидел Капитолий Арнаута Каталана, постоянного инквизитора Тулузы, седмицу спустя после того, первого, раза. И поначалу-то не слишком был Каталан хорош и обходителен, а теперь и вовсе сделался невыносим.

Пришел один, в грязной рясе, препоясанный верой и яростью. Еще издали, шагая размашисто по залу, кричать принялся:

– Отступники! Предатели!

И через весь зал – прямо в лица гордых магистратов – швырнул пергаменты; разлетелись, как осенние листья, прошуршали, опали – и настала тишина.

В тишине слышно только тяжелое дыхание да шлепанье каталановых сандалий – вослед своим летящим пергаментам шел.

Отца инквизитора вежливо попросили объясниться (а сами на пергаменты глаза скосили, однако подбирать и читать не торопились).

Молвил Каталан:

– Там все написано.

И ушел.

Лучше бы и не знать, что там, в писаниях инквизиторских,

накарябано. Да только и без Каталана ведали именитые люди Тулузы: предупрежденные ими еретики из города бежали. Ушли целыми семьями, взяв лишь необходимое; растворились, исчезли. Сперва – в Авиньонет, а оттуда – на юг, к Пейре-Рожьеру де Мирепуа, ближе к Пиренеям, где оставались еще неприступные катарские твердыни. Все тайные нити уходили ныне в заоблачные пиренейские выси, все туже завязываясь узлом в одной крепости, чье имя все громче и тревожней звучало по мятежным горам Юга: Монсегюр.

Гневливые гордые горцы, и все друг другу братья – родные, двоюродные, единоутробные, сводные, приемные: Фуа, Терриды, Коминжи, Мирепуа, Пейрели, и каждый второй из них носит имя "Раймон"…

И уж конечно инквизиторы знали все это не хуже, чем тулузские консулы; да только коротки руки у святых отцов и до Монсегюра им не дотянуться. Вот пусть и бесятся, сидя в Тулузе, пусть жгут мертвецов – тем-то уж не повредить, ибо учат "совершенные": не существует воскресения во плоти!

Злорадствовали члены тулузского капитула недолго: ровно до того часа, как решились подобрать с пола каталановы послания и ознакомиться с ними.

"…Поелику упорствуя в пагубных заблуждениях и негласно сочувствуя ереси, находится такой-то и такой-то в преступном сговоре с еретиками – список прилагается – что выразилось в содействии их бегству от правосудия…"

В общем, так: не пропустив ни одного, вызывал Арнаут Каталан в трибунал инквизиции всех членов Тулузского Капитула по обвинению в пособничестве еретикам.

Соумышленникам и пособникам, в случае их искреннего раскаяния, Каталан предлагал довольно легкое каноническое наказание, заключающееся лишь в усиленном соблюдении дисциплины – постов и предписанных молитв.

Однако приуныли, ознакомившись с творениями отца инквизитора, далеко не все: большинство пришло в гнев. И решено было призывов Каталана как бы не замечать и сделать вид, будто никакого трибунала и на свете нет.

Третий визит Каталана оказался еще менее приятным: он явился в сопровождении стражи и объявил, что немедленно арестовывает одиннадцать человек консулов Тулузы во главе с графским наместником.

Что тут началось!

Забыв о достоинстве, благородстве рождения и воспитания, о чести, сане и чине, орали друг на друга святейший отец инквизитор и именитейшие граждане Тулузы хуже базарных

торговок.

– Дармоед! Клещ!

– Еретики!

– Убирайся отсюда!

– Вы арестованы!

– Уходи, покуда цел!

– Стража! Взять их!

– Ни с места, болваны! Забыли, кто вам платит?

– Я сообщу в Рим!

– Хоть апостолу Павлу!

Дальше понеслась уже невообразимая брань, причем вскоре консулы обнаружили, что ни переорать, ни переспорить святого отца им не удается и что глотка у Каталана луженая, а фантазия изощреннейшая и на бранные импровизации он скор получше всех одиннадцати вместе взятых.

И тогда крикнул графский наместник благородным господам консулам, чтобы те замолчали. И подступив к Каталану, сказал ему сипло:

– Слушай, ты, грязный доминиканец! Еще раз придешь сюда гавкать – выпущу тебе кишки и намотаю на алтарь. Понял?

Тяжело переводя дыхание, отвечал Каталан:

– Больше я не стану вас уговаривать, ибо сказано апостолом: "Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден".

– На все у тебя найдется ответ, святоша!

– Ответ – не на все, – возразил Каталан. – На все – только любовь.

– Засунь ее себе в задницу, свою любовь! – вспыхнул наместник. – И запомни, пес: если тебе дорога твоя паскудная жизнь – сиди в монастыре и перди там в кулачок, а город оставь в покое!

– Ты волен убить меня из-за угла, – сказал наместнику Арнаут Каталан. – Но никто из вас не смеет заставить меня замолчать!

***

Город содрогался от набатного звона. Печально и тревожно, в лад, звонили в Сен-Сернен и в храме Богоматери Белоцерковной, в кафедрале Сен-Этьен и в предместье, в церковке святого Киприана. Под этот неумолчный звон рассыпались по всему городу герольды и глашатаи – на сей раз недостатка в желающих

не было, ибо всякому, кому только позволяла глотка, охота прокричать – на всю Тулузу, до самого неба! – что отныне приказом Тулузского Капитолия и по распоряжению мессена наместника нашего любимого графа Раймона Седьмого

ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

Любое общение с доминиканским монастырем!

Тулуза! Слушай: решено отныне

НЕ

– давать монахам хлеба, овощей и любой пищи!

– подносить им денежной и иной милостыни!

– продавать им ничего, как бы они ни просили!

– приближаться к их окнам и дверям!

– пускать их в дома и храмы!

А если они вылезут и начнут снова пачкать улицы Тулузы своими рясами и отравлять ее воздух своим зловонным дыханием, то всякому жителю Тулузы дозволяется братьев проповедников

БИТЬ!

Везде, где бы они ни появлялись!

А оказывать им помощь, кормить и давать убежище

ВОСПРЕЩАЕТСЯ! ВОСПРЕЩАЕТСЯ! ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

Так вопила Тулуза, захлебываясь собственным ликованием.

Консульская гвардия ворвалась к епископу Раймону и заняла его резиденцию, а самого епископа арестовала, отчего тот счел за благо занедужить. Просился также, чтобы отпустили его из города, но епископу было отказано: пусть посидит в заложниках.

Из всех слуг епископских только один вздумал, по глупости, защищать своего господина. Был ранен в бок мечом и бежал, ибо увидел, что никто больше и не думает сопротивляться чинимому над епископом насилию. У бедняги хватило соображения добраться до Сен-Романа; его впустили, выслушали новости и отправили на попечение простоватого брата Фомы.

Брат Фома промыл слуге рану, налепил повязку, пропитанную целебной мазью, а после сказал задумчиво:

– Дивно устроен мир! Вот человек, и тут же рядом и трава растет для его излечения!

Другие мысли брата Фому почему-то при появлении раненого епископского слуги не посетили.

На следующий же день Каталан бесстрашно открыл ворота монастыря и пешком отправился к графскому наместнику, тиская в кулаке вызов в трибунал – на сей раз по обвинению в открытом исповедании ереси. Каталана провожали взглядами, несколько раз пытались преградить ему дорогу, но он шел неостановимо, мерным шагом, будто слепой, и никого вокруг себя не замечал. И

расступались люди. Поневоле шарахнешься в сторону от такого нечеловеческого человека! И ни один камень из поднятых с земли не полетел ему в спину.

Каталан остановился перед домом наместника. Мгновение глядел на дверь, а затем плюнул себе в ладонь, мазнул плевком по запертой двери, с маху приложил клочок пергамента с требованием явиться в трибунал инквизиции на ближайшее заседание – то есть в нынешнюю среду в два часа пополудни, а затем резко повернулся и пошел прочь, прямой, как палка.

К вечеру доминиканский монастырь оцепили, и когда брат Лаврентий попытался для пробы выйти на улицу, стражники безмолвно сунули в открытую дверь пику и загнали монаха обратно.

Так началось заточение доминиканцев в Тулузе, которое длилось почти два месяца.

***

Меньше всех унывал брат Фома. У него был огород, чтобы занять руки работой, и раненый, чтобы занять заботой голову. Что до стражи у ворот – то Фома и без всякой стражи монастырь покидать не любил.

Как-то раз, подойдя к воротам, крикнул Фома:

– Эй, дураки с копьями! Зачем вы здесь стоите?

– Цыц, крапивное семя!

Фома удивился.

– Я спросил, для чего вам стоять здесь и днем и ночью, мучить себя то на солнцепеке, то под дождем.

Ворота чуть приоткрылись, и Фоме показали кулак. Фома поглядел сперва на свой кулак, потом на тот, что ему показали. У Фомы был больше.

– Сиди тихо, монах, пока рожу не начистили, – пояснил стражник, захлопывая ворота.

Фома сел у запертых ворот на землю и задумался. Потом сказал самому себе:

– Эти люди, несомненно, глупы, ибо заставляют меня делать то, ради чего я и посвятил себя служению: то есть сидеть в уединении, молиться и вкушать скудную пищу, состоящую из воды и мучной тюри. К тому же у нас есть колодец, а на грядках растет зелень. Как бы стражники окончательно не утратили рассудок – при таких лишениях, которым они себя подвергают, это вполне возможное дело. Пожалуй, надо будет помолиться за

этих бедных дураков.

***

Через месяц безвылазного сидения Каталан пришел к своему другу брату Фоме и сказал:

– Я хочу сходить в город.

Фома снял с пояса четки и стал их перебирать, не отвечая.

Каталан повторил:

– Я хочу сходить в город.

Слуга епископа, которому Фома отдал свой тюфяк, сел, держась за раненый бок, и сказал Каталану:

– Вас там сразу убьют, святой отец.

– Вот и хорошо! – озлился Каталан. – Если этой земле нужна кровь, чтобы пробудиться, – пусть прольется моя!

– Не затем же ты хочешь пойти, чтобы тебя убили, брат, – заметил Фома. Он хорошо знал Каталана.

– Нет.

И Каталан показал новый документ: инквизитор вызывал в трибунал всех должностных лиц Тулузы по обвинению в ереси, укрывательстве виновных и открытому противодействию инквизиции.

Фома внимательно прочитал все то, что было написано на пергаменте, а потом расхохотался:

– Пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что тебя можно запугать, Каталан!

***

Ночью они вдвоем выбрались из келий и спустились по лестнице во двор. Фома встал к стене, расставив ноги и упираясь руками в каменную кладку, а Каталан вскарабкался ему на плечи и, уцепившись руками за край, перебрался на стену. Фома подал ему сандалии и веревку. Каталан прицепил сандалии к поясу и обвязался веревкой. Огляделся, сидя на корточках.

Стража городского капитула исправно охраняла оба выхода – тот, что вел в церковь, и боковой, в углу стены. Сверху хорошо были видны горящие факелы.

– Я подожду тебя здесь, – сказал Фома снизу. – Если тебя станут убивать – кричи. Успею – перетащу тебя через стену. Да хранит тебя Пресвятая Дева, брат.

Каталан усмехнулся в темноте. Придерживаясь за веревку,

спустился на мостовую и сразу прижался в тени. Осторожно отвязал веревку, оставив ее на попечение Фомы, и бесшумно побежал босиком по улице. За углом он обулся и пошел уже медленно – черная тень в ночной темноте. Дважды Каталан ускользал от внимания городской стражи, и крался, и таился, пока наконец не добрался до дома графского наместника.

А в доме этом настоящие стеклянные окна, и не одно, а целых три. Так и тянуло Каталана швырнуть в эти окна камнем, но сдержался. Взялся за дверной молоток, громко постучал: раз, другой.

Ах, как долго идет ленивый слуга отпирать! Ах, как крепко спят в наместниковом доме! Ничего, сейчас проснетесь.

Приотворилась дверь. Каталан просунул в щель свернутый трубкой пергамент и ушел – растворился в ночных улицах.

Ах, какой крик поднялся наутро! Изнемогая от злобы, бесновался под стенами Сен-Романа графский наместник – лично! Грозил взять монастырь штурмом! Ворота тараном вышибить, церковь к такой-то матери разнести, монахов посадить на кол!

Каталан поднялся на стену, чтобы удобнее было вести беседу.

– Я здесь, полупочтенный! – завопил он пронзительно. – Никак ты явился принести покаяние?

– Я выжгу ваше осиное гнездо каленым железом! – вне себя орал наместник. – Я повешу вас всех за яйца, у кого еще остались!

На небе собирались тучи, а гром покашливал далеко за Гаронной, на юге – там, где высится невидимая отсюда гора Монсегюр.

– Я велел тебе убираться из Тулузы, ты, недоносок! Я велел тебе заткнуть свое паршивое хлебало! – надрывался наместник.

А Каталан вдруг развел крестообразно руки, и свежий порыв ветра взметнул полы его черного плаща. И заверещал Каталан, переступая по стене босыми ногами, будто на месте приплясывая:

– Ах, в горах, мать вашу, в горах черных,

Где вьется, раком вас всех, тропа крученая,

Под самым небом, хрен вам в рот, золоченым,

Стоит там бык печеный,

А в жопе у него чеснок толченый!..

Ошеломленный наместник замолчал, рот разинул…

Рехнулся монах! От злобы, с голодухи, от воздержания – ума лишился. Или того хуже – бесноватым сделался. Ой, худо! Страшненький монах. Спаси нас, Боже, от бесов и сатанинского сонмища!

И потянулся наместник перекреститься. А Каталан перестал плясать и кривляться – так же внезапно, как начал, – и крикнул грозно:

– Не сметь!

И замер наместник, не донеся руки до лба. Каталан нагнулся к нему со стены, упираясь ладонями в колени:

– Как ты смеешь, еретик, дерьмо свиное, просить о помощи Господа, когда не побоялся судиться с Ним, и поносить Его, и грозить Ему?

И были глаза Каталана не безумны вовсе – ясны и холодны.

Спросил его наместник, сбитый с толку:

– Чего ты от меня хочешь, монах? Чего добиваешься?

– Милости хочу, не жертвы, – ответил Каталан. – Покайся в грехе своем, отступи от ереси.

– Я подумаю… – сказал наместник, подняв к Каталану побледневшее лицо.

И в этот миг хлынул наконец ливень.

Каталан выпрямился. Больше он не смотрел вниз – ни на наместника, ни на стражу. Стоял на стене, откинув назад голову, и вода заливала его открытые глаза.

***

– Он подумает! – с недовольным видом проговорил брат Фома, которому Каталан, весь мокрый, пересказывал свой разговор с наместником. – Вот увидишь, ни до чего хорошего он не додумается.

И заставил Каталана выпить горячий отвар шиповника – чтоб не простудился.

***

Наместник размышлял недолго и, как и предрекал брат Фома, не благое решение принял. Через глашатаев – сам не явился – передал доминиканцам постановление капитула Тулузы: всем доминиканцам немедленно оставить город! Обещал, что никто монахов и пальцем не тронет, пока они направляются от Сен-Романа в сторону Саленских ворот; буде же предпримут какое-либо движение в обратном направлении – немедленно подвергнутся побиванию камнями.

Каталан выслушал глашатая; Каталан выслушал настоятеля; Каталан выслушал общее решение братии оставить Тулузу и не подвергаться более поношениям нечестивцев; оставшись же наедине с собой, сказал Арнаут Каталан:

– Лично я никуда отсюда не пойду.

Ничего из вещей не взяли с собой из Сен-Романа монахи; да и вещей-то у них было немного. Даже обувь – и ту оставили. Сняли засовы с ворот, запертых изнутри, а городская стража сняла с тех же ворот засовы наружные. И вот спустя два месяца после начала осады распахнулись двери доминиканского монастыря и начали выходить монахи – один за другим; всего же их вышло тридцать восемь человек и еще тот слуга епископа Раймона, что прижился в монастыре при брате Фоме.

Брату Лаврентию сказал Арнаут Каталан, глядя, как прочие покидают обитель:

– Останься со мной.

Брат Лаврентий посмотрел на Каталана и увидел, что у того что-то на уме; но послушно задержался и остался стоять рядом с Каталаном.

А доминиканцы медленно шли к воротам, растянувшись по всей улице, и несли в руках зажженные свечи. Из окон и раскрытых дверей следили за ними тулузцы – безмолвно и настороженно, ибо знали, что с изгнанием ордена псов Господних наступают для города мятежные времена.

У Саленских ворот дунул настоятель на огонек своей свечи и потушил ее; и другие монахи вслед за ним сделали то же самое.

А Каталан и брат Лаврентий все медлили. Наконец настал черед уходить последним, и тогда сказал Арнаут Каталан своему брату:

– Читай из Писания.

И стал брат Лаврентий громко читать то, что знал на память:

– Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum! Beati mites quoniam ipsi possidebunt terram!Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю!

А Арнаут Каталан встал на колени и опустился на землю, раскинув руки крестом и приникая лицом к порогу монастыря.

И так лежал он на земле, а Лаврентий читал над ним срывающимся голосом:

– Beati misericordes quia ipsi misericordiam consequentur! Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam ipsorum est regnum caelorum![2]

А стража городского капитула кричала:

– Убирайтесь! Вон из города!

И когда увидели стражники, что Арнаут Каталан своей волей не встанет и никуда из монастыря не пойдет, то подступили к обоим упрямцам и сперва схватили брата Лаврентия. Они взяли его за руки, набросили веревку ему на шею и потащили прочь. Побежал он, спотыкаясь и уворачиваясь от тычков, а у Саленских

ворот сняли веревку и отпустили брата Лаврентия, сподобив напоследок затрещиной – так что в глазах у него потемнело.

А Каталана подхватили за голову и за ноги и подняли, проклиная строптивого попа на чем свет стоит, и так выволокли за монастырские ворота, где и бросили. Всем телом грянулся Каталан о мостовую, однако и после этого продолжал лежать как неживой и когда несколько раз пнули его в бок, только сильно вздрогнул, но даже голоса не подал.

Пришлось двум крепким парням брать Каталана за подмышки и волочь его по улицам, точно труп. Каталан обвис у них в руках, голову на грудь свесил, глаза закрыл. Ноги его цеплялись за углы домов, когда протаскивали его проулками, одежда пачкалась и рвалась. Но Каталан молчал.

У Саленских ворот остановились перевести дух. Больно тяжел клятый монах оказался! Потоптались над простертым Каталаном – а тот лежал неподвижно, оставаясь в том же положении, в каком его бросили. Отерли пот. Затем наклонились над отцом инквизитором, взяли – один за руки, другой за ноги, хорошенько раскачали и отправили за городскую черту.

Шмякнулся Каталан спиной о землю невдалеке от того места, где оставались еще следы пепелища после сожжения выкопанных на кладбище останков. Всю-то больную утробу каталанову от этого удара перетряхнуло. Простонал тихонько, головой пошевелить попытался – вроде, получилось.

Монахи поблизости стояли, ждали, пока Каталан в себя придет.

А из города им прокричали:

– И чтоб впредь ноги вашей не было в нашей прекрасной Тулузе!

Глава одиннадцатая
АРНАУТ КАТАЛАН ПОЕТ ХВАЛУ ГОСПОДУ

Все свои синяки, ссадины и душевные раны понесли тулузские доминиканцы в Каркассон. Впервые за долгие годы снова оказался Каталан в этом городе. Многое сторожило его в Каркассоне – кажется, только и ждало часа наброситься и изглодать каталанову душу. Думал – падет посреди улицы, стеная; а вышло иначе. Время и вправду лечит, притупляет боль, стачивает угрызения совести. Лишь запоздалая печаль стиснула сердце ноюще и сладко…

С Каталаном неотлучно оставались Фома и тот бывший епископский слуга, что излечивался в монастыре. Звали этого человека Робен; был он лет двадцати пяти, на удивление молчаливый и тихий.

Вот так втроем вошли в кафедральный собор Сен-Назар, сразу погрузившись в торжествующее многоцветье витражного света, щедро изливающегося, казалось, прямо из сердцевины рая. Фома только головой крутил, дивясь красоте. Все в соборе посмотрели, каждой святыне поклонились, а после подошли к гробнице, перед которой горело несколько свечей. Простодушный Робен сразу встал на колени, чтобы помолиться за усопшего, кем бы он ни был. Каталан же, взглянув на надгробное изображение, так и застыл на месте: еще не прочитав имени – узнал.

Симон де Монфор, в кольчуге и сюркоте, украшенном чередующимися тулузскими крестами и вздыбленными монфоровскими львами, с руками, сложенными для молитвы, глядел из камня и гневно, и страстно. Живым показалось вдруг Каталану его лицо в тесном обрамлении кольчужного капюшона, прочерченное в каменной плите, – с резкими морщинами на лбу и вокруг рта.

И виделось Каталану в теплом мерцающем свете не мертвое надгробие, но люди, живые и юные, – Амори, Алиса. Весь задрожал, затрясся – сам не понимал, отчего долгожданная боль вдруг точно пополам рванула душу.

Могила Симона в Каркассоне была пуста. Двенадцать лет назад, уходя из Лангедока, забрал Амори де Монфор прах своего отца, увез его далеко на север, в Ивелинские леса, чтобы похоронить в земле предков.

Нагнувшись, Фома старательно прочитал латинский стих на

гробнице:

> Simo iste comes, fidei protectio, Regis
> militae famus fuit, hic discretio legis.

Робен поднялся на ноги и тихо спросил Каталана:

– Что это означает по-нашему, господин?

И Каталан перевел – по давней привычке сразу импровизируя стихами:

> Вот граф Симон, защитник веры, достойный трона,
> Преславный воин, принявший смерть во имя Бога и Закона.

Фома неожиданно сказал:

– Я завидую ему.

***

Вскоре в Каркассон прибыл – все еще разбитый недугами – тулузский епископ Раймон; отпустили его консулы Тулузы, решив, видимо, что после публичного изгнания из города братьев проповедников держать епископа в заложниках будет уже неразумно.

Пока Тулуза праздновала избавление от инквизиции, Каркассонский трибунал тоже даром времени не терял – отлучил от Церкви консулов Тулузы. Всех одиннадцать.

В Тулузе в ответ на это разгромили монастырь миноритов, которых прежде терпели, считая тихими придурками, и избили в кровь нескольких монахов.

Епископ Раймон, кое-как оправившись от расстройств, двинулся в Рим – жаловаться Папе.

Одновременно с епископом к Папе отправилось посольство от Тулузы: прекрасная дама жаловалась Его святейшеству, со своей стороны, на бесчинства доминиканцев – вот уж воистину подобны цепным псам, сорвавшимся с привязи! И вся злоба этих проповедников – против дома Тулузских Раймонов, к которым братья Доминика де Гусмана издавна питают ненависть, не всегда справедливую. Посему немало бед проистечет, если предоставить доминиканцам полную свободу действий в Тулузе, ибо никогда не бывала еще ненависть добрым советчиком.

Святой Престол отозвался распоряжением отныне разбавлять

в трибуналах доминиканцев миноритами, дабы смягчить суровость первых кротостию последних.

Через полгода после шумного выдворения псов Господних те невозбранно и даже отчасти торжествующе возвратились в Тулузу и мгновенно возобновили гонения на ересь.

Монастырь за время их отсутствия основательно разграбили; серебряные сосуды вынесли, статуи разбили в щепу, огород уничтожили, колодец засорили. Так что работы у братьев прибавилось.

Каталана теперь разве что ветром не шатало, так уставал. От утомления почти перестал спать, а ел что попало и часто забывал о голоде. Лицом сделался желт, под глазами пролегли коричневые полукружия, рот ввалился, как у старика.

Нынешний приор доминиканского монастыря, недавно выбранный, Пейре Челлани, приставил к Каталану Робена – следить, чтобы отец инквизитор не уморил себя до смерти раньше времени. Вскоре, однако же, и Робен приобрел вид крайнего утомления. Видать, одному брату Фоме под силу совладать с Каталаном и укротить в нем рвение, дабы не сгрыз он самого себя изнутри; но Фома был занят огородом.

В товарищи Каталану дали минорита – Этьена из Сен-Тибери. Этот Этьен Каталану пришелся очень даже по душе – такой же блаженный и блажной, как сам Каталан, только на свой лад. Да еще, пожалуй, менее склонный к злому юродству.

***

Первый владетельный сеньор, за которого взялись инквизиторы, был, конечно, граф Фуа – сын и наследник Рыжего Кочета. Крепка скорлупка у этого ореха, и зубов об нее обломалось немало. Вот еще новые охотники выискались! Вызов в трибунал граф Бернарт, конечно же, получил, да только отвечать не намеревался.

Невесело сейчас в Фуа. Граф стареет, дочери растут – томятся, дерзят. Петронилла де Коминж совсем ссохлась, сделалась как паутинка. Отец ее, старый граф де Коминж, недавно умер. Прямо за обеденным столом схватился за левый бок и повалился на пол; когда подняли – уже не дышал. Похоронили по католическому обряду, а после, когда попы поразъехались, приходила из Памьера Эклармонда де Фуа, "совершенная", спускалась к могиле брата, а что там делала и какие обряды вершила – неведомо.

И все темнее клубятся грозные тучи вокруг, и все гуще

оплетается Фуа заговором, все крепче делается нерушимая связь с Лорагэ. Не ради любви, не ради песен и забав сходятся теперь братья – родные, двоюродные, кровные, названные. И, кажется, ощутимо надвигается на Лангедок Гора. Можно не называть ее по имени, в Лангедоке одна Гора, и там – узел всему; отовсюду она теперь, мнится, видна.

Монсегюр.

Последний оплот, последняя надежда, обитель "совершенных" и сосуд священного огня. И только там, на Горе, ныне крепка по-настоящему катарская церковь, наложившая строгий запрет на каиново преступление – кровопролитие.

***

На вторичный вызов явиться в трибунал святой инквизиции граф Бернарт отозвался по-своему: наставил синяков послушнику, который передал ему послание Каталана из рук в руки, и показал ему, держа за волосы, из окон замка обрыв в пропасть, где, невидимая под листвой, неслась обмелевая к лету река Арьеж.

– Здесь, щенок, не Тулуза, – сказал граф Фуа послушнику. – Высоко отсюда падать.

И выпроводил – по счастью, через двери, наградив напоследок хорошим пинком.

***

– Ну вот, – сказал Робену (это был он) Арнаут Каталан, смазывая тому кровоточащую ссадину за ухом, куда пришлась суковатая палка графа Фуа, – теперь ты настоящий доминиканец!

***

И оставили Бернарта де Фуа в покое – на время, наскольку дал понять граф: чтобы привлечь его к суду, придется монахам штурмовать его замок, а к такому подвигу ни братья проповедники, ни минориты готовы пока что не были.

И тень Горы лежала на всем…

***

И покорно, с исступленным внутренним самоистреблением, погрузился Каталан в бесконечное варево лиц и личин – слушал, слушал, слушал, а ему лгали, лгали, лгали…

Захватить из намеченных к аресту удавалось лишь немногих; остальные исчезали бесследно. Церковь конфисковывала их имущество; однако зачастую и имущества у беглецов, невзирая на их знатное происхождение, не обнаруживалось.

Из всего, что говорили Каталану арестованные, только их презрение к нему было искренним. Не впрямую – упаси Боже! – исподволь давали понять: черная кость, грязный доминиканец с изглоданными до мяса ногтями.

И шли, чередуясь и смешиваясь в причудливом хороводе, перед Каталаном лица, лица, лица… По сотне раз задавал одни и те же вопросы и получал одни и те же ответы:

– Да, верил в двух богов: доброго и злого.

– Да, становился на колени перед "совершенными".

– Да, слушал их поучения.

– Да, бывал на братских трапезах.

– Да, верил, что…

Доминик, зачем ты прислал меня к своим братьям в монастырь Сен-Роман?..

И диктовал нотарию Понсу Понтелю одни и те же слова, и усердно строчил Понтель, украдкой поглядывая на Каталана с сочувствием.

Каталан увязал в словах, как в болоте, тщетно пытаясь выбраться на твердую почву. Катары начинали говорить свое исповедание, и Каталан терял голову, переставая понимать родной язык. А цитаты из Писания с их уст так и сыпались – орешками. На всякое слово находилось два. И перестал Каталан спрашивать исповедание, а спрашивал только понятное:

– Верил ли в двух богов: доброго и злого?

– Становился ли перед "совершенными" на колени, испрашивал ли их благословения?

– Бывал ли на братских трапезах?

– Помогал ли "совершеным" деньгами, одеждой и продуктами?

А о вере говорить запрещал.

Что лгали ему – видел; но уличить не мог. Лишь те, кто сразу оговаривал себя, оказывались, как правило, невиновны – тех Каталан отпускал на покаяние как заблуждающихся; лгущих же держал в тюрьме и морил голодом.

И знал Каталан: они – всего лишь листья; корень же всему – Гора.

***

Быв фигляром, бездомным и бездумным, бродил некогда Каталан по зеленым холмам Лорагэ, между полей вилась его дорожка. Шел себе, цветок дикого мака за ухом, распевал во все горло – когда встречным людям, а когда и просто ветру; ни денег, ни благодарности от ветра не хотел, а чего хотел – и сам не знал, так порой донимал его голод. И потому половина песен была у него о набитом брюхе, а половина – о брюхе пустопорожнем.

Добрый рыцарь де Сейссак
Поесть и выпить не дурак;
Зато оголодал Бернар,
Он совершенный был катар…

И плясал, и кривлялся по малым городам Лорагэ, и подавали ему в Авиньонете и Вильфранше медные грошики и серебряные денежки…

Только давно уже забыл нынешний Каталан того давнишнего Каталана; встретились бы сейчас на дороге – кажется, не признали бы друг друга.

И Лорагэ видится теперь Каталану иным: тогда была Лорагэ зеленой, веселой, солнцем пронизанной, а ныне будто увяла, пропитанная зловонной ересью. Прежде весь мир перед Каталаном распахивался, точно двери трактирные, ибо знал бедный фигляр совсем немного, а властью и вовсе никакой не обладал. Какое там – другими людьми повелевать, когда собственные ноги иной раз в повиновении отказывали! Ныне же словно прежние глаза на другие заменились; а все потому что выйдя на единоборство с дьяволом одного только дьявола и видел.

Давно уже понимали – и Каталан, и Этьен де Сен-Тибери, да и провинциальный приор ордена проповедников: сидя в Тулузе, одну лишь тень они ловят; корни же – по всей Лорагэ и южнее, там, где темной тенью высится Гора, неприступная и страшная.

И потому решено было переместить трибунал из Тулузы в Авиньонет. Слишком уж много путей в этом Авиньонете сходилось. И увела туда дорога брата Арнаута Каталана и с ним брата Фому из ордена проповедников, минорита Этьена Сен-Тибери, нарбоннского доминиканца по прозванию Писака, а также послушника Робена, нотария Понса Понтеля и с ними архидиакона тулузского кафедрала Лезату.

Ехали молча, каждый утонув в своей думе. Ни у одного не

была эта дума веселой. И земля, казалось, поглядывала на монахов с опаской, почти враждебно: не любы ей эти чужие люди. И смотрел Каталан на зеленые поля, но ни одного цветка не различал между стеблей – зрение к сорока с лишним годам сделалось у Каталана совсем негодным.

***

Красив Авиньонет – "Авиньончик" – малый город, обступивший Богородичную церковь на высоком холме, обнесенный стеной и защищенный всего двумя башнями – а большего, по правде сказать, и не требуется. Красив и невелик, весь в стенах уместился, как в ладонях, за стены еще не вытеснился. В жару по узким улицам струится пыль, а в дождь – несутся бурые потоки. Но площадь хорошо замощена деревянными брусками. От Богородичной церкви видна вся широкая долина Гаронны и далекие, едва читающиеся в бегущих очертаниях горизонта грозные горы…

Красив и господин Авиньонета, нареченный любимым здесь именем – Раймон. Да он и лицом, и повадкой, и нравом – всем, кажется, напоминает старого графа Раймона. Оно не диво, ибо приходится Авиньонетский Раймон старому графу родным внуком. Была у доброго тулузского владыки возлюбленная, с которой, хоть и не венчан, прожил неколикое время в полном согласии. Она же в ответ на ласку подарила графу дитя – дочь, названную Гильеметтой. Граф Раймон детей своих не забывал, хоть законных, хоть внебрачных. Вот и Гильеметту, когда вошла в лета, хорошо выдал замуж – за своего сенешаля Юка Альфаро, а в придачу подарил им город Авиньонет.

Кто в Лорагэ не знает, что Раймон Альфаро – катар? Да и странно было бы, окажись иначе.

Всем хорош Раймон Альфаро. По узкому удлиненному лицу, по веселому смеху, по любви к своим людям сразу узнавалось потомство доброго графа Раймона Тулузского.

Как брата принимали его и в Фуа, и на Горе, и немалое число заранее осужденных инквизицией проходило через его городок. Здесь, обогретые и накормленные, получали беглецы и помощь, и провожатых и уходили в Пиренеи, а святым отцам только и оставалось, что посылать им вослед бесполезные проклятия.

И все-то находилось у Альфаро под рукой: и верные люди, и добрые кони, и богатые припасы.

***

Стоял горячий слепящий май; был канун Вознесения. Вот уж и Авиньонет показался – оседлавший холм тихий городок под синим небом, среди зеленых полей и рощ. Ворота стоят раскрыты; не глядя ни вправо ни влево вступают в Авиньонет монахи, точно Господь в Иерусалим; только вот никто не выходит к ним навстречу с пальмовыми ветвями, никто не устилает им путь одеждами; безмолвно поглядывает на них Авиньонет, тревогу таит.

Явились в церковь; месса уже заканчивалась. Отстояли, сколько оставалось, склонив головы, дослушали. Но вот уж месса проговорена и немногочисленные прихожане разошлись. Тогда прошел Каталан в ризницу – приору назвался. Приор засуетился, оробел – побаивался, зная за собою некоторую нерадивость. И то сказать! Чтобы Лорагэ в нелицемерном католичестве держать – тут не бедным приором, тут апостолом Павлом быть надобно. Да где же на всякий городишко апостолов наберешься!

Вышли вдвоем из ризницы; Каталан приору и товарищей своих назвал – всех по очереди. Настороженно каждого приор оглядывал – будто ждал, что и его, бедного, за недостаток усердия карать начнут. Но после, как поглядел на смирного Робена да на простоватого Фому – поуспокоился.

Предложил с дороги хотя бы воды с медом выпить – холодной, из погреба.

Приор жил в двух шагах от храма, так что даже и ходить далеко не пришлось.

Впрочем, в Авиньонете вообще никто далеко не ходит; чего ни хватись – все под рукой. Вот и до светских властей добрались – еще побыстрей, чем до духовных.

Раймон Альфаро – это вам не задерганный нерадивостью служек и равнодушием прихожан приор. Раймон Альфаро – хоть и в малом Авиньончике, а государь. Стоит перед Каталаном хмурый, красивый. И молодости, и сил, кажется, еще на тысячу свершений хватит. Инквизитор перед Раймоном Альфаро – будто пугало огородное в тряпках монашеских; весь усохший, желтый, с покрасневшими глазами.

Поднял на Каталана взор Раймон Альфаро и, будто решившись на что-то, улыбнулся, зубы на загорелом лице блеснули. Оба послания – и от провинциального приора ордена, и от папского легата, монсеньора архиепископа Вьеннского, – вручил – не вручил, всучил! – своему нотарию: "Прочти!" Будто сам читать не обучен. Нотарий в послания уткнулся, забубнил:

– "Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Сим извещаем всех верных католиков, к которым попадет это письмо, что мы, Иоахим, благодатью Божией смиренный слуга Его в

архиепископстве Вьеннском…"

А Раймон Альфаро нотария почти не слушает, бесцеремонно разглядывает то изможденного Каталана, то Этьена Сен-Тибери в пыльной коричневой рясе, то взволнованного приора. А приор и впрямь от волнения задыхается: шутка ли, такая важность в Авиньонет пожаловала!

– "…Желая искоренить ересь, уничтожить порок, научить людей истинной вере и воспитать в них добрые нравы, повелеваем…"

Ну, и к чему все эти словеса? И без словес понятно: приехала чертова мельница его, Раймона Альфаро, город в пыль перемалывать. Будто можно вот так превратить всех катаров Лорагэ в бессловесный прах, а потом из этого праха с помощью слюны и Veni Creator слепить истинных католиков. Ну-ну. И с любезной улыбкой глядит Раймон Альфаро на инквизиторов. Темные волосы Альфаро стрижены в кружок, темные глаза под челкой полны потаенного медового света, почти золотые, когда солнце в них светит.

И, разумеется, выказывает Раймон Альфаро полное согласие с обоими посланиями. И готов он всячески содействовать святым отцам в их благом предприятии. Что от светской власти требуется? Предоставить трибуналу охрану и наиболее подходящее здание? К сожалению, ни доминиканского, ни какого иного монастыря в городе не имеется, но в тридцати верстах есть бенедиктинское аббатство Сен-Папул… В память того самого Папула, что в незапамятные времена крестил Лорагэ.

Глядит на Раймона Альфаро Арнаут Каталан, противен Каталану Раймон Альфаро. Все в нем противно – и одежды яркие, и лицо юное, красивое, спесивое. Мнит о себе высоко, смерти боится, Бога – нет.

Глядит Этьен Сен-Тибери на Раймона Альфаро и думает о святом Папуле: трудился первый епископ Лорагэ в поте лица своего, но сколько же плевел на поле его взошло! И поди их выкорчуй, когда корни у них – до сердца земли, а стебли – в жгучих колючках…

А приор – тот сразу на всех глядеть пытается, чтобы уладить дела как можно лучше и ко всеобщему благу.

– Зачем в аббатство? – говорит приор. – Это очень далеко от города. Людям придется тратить целый день, чтобы добраться до трибунала. Это нехорошо.

– В самом деле, – любезно соглашается Раймон Альфаро. – Что ж, я готов предоставить свою резиденцию.

Резиденция у внука Раймона Тулузского большая – самый красивый дом в Авиньонете; на склоне холма стоит, недалеко от

городской стены. Не дом, а маленькая крепость. Окна щедро рассекают стены; однако обращены они лишь к центру города и больше похожи на бойницы, за исключением одного. Есть и подвал – правда, не обессудьте, там заложены винные бочки…

Вошли. Тотчас засуетились, забегали слуги – Раймон Альфаро только бровью на них повел.

А после распрощался со святыми отцами и, откланявшись, вышел.

***

Уж конечно умел Раймон Альфаро и читать и писать! И для того письма, что яростно царапал на клочке пергамента, нотария звать не стал. "Брат! – звал Раймон Альфаро. – Беда у меня, брат!.."

И взмыл в синее небо почтовый голубь, сделал круг и, сверкнув, исчез. И накрыла его тень далекой Горы.

***

Пока Робен и Фома вместе со слугами перетаскивали столы и скамьи, пока лишали комнаты суетных украшений, сердясь на то, что и креста у себя на стене Раймон Альфаро не держит, Каталан с Этьеном и Писакой разложил книги с записями. Что время даром терять! Через два дня начнется работа, не до разговоров станет.

Думали оставить в Авиньонете постоянный трибунал, не выездной; для того и назначены Писака с архидиаконом Лезатой; а Каталан, Фома и Этьен предполагали вернуться, передав дела, в Тулузу.

Пальцем по книге водя, показывал Каталан Писаке, как расплетаются сплетенные заговором нити. Называл имена – Вильнев, Сейссак, Моссабрак, Роэкс… Все эти семьи – из Лорагэ; любой из них вырос в ереси и коли не сам еретик, то уж наверняка многих еретиков знает.

И тоска стояла в глазах Каталана, ибо видел перед собою бесконечные горькие труды, и представлялось ему, что искоренять зломыслие в Лорагэ – все равно что бить мотыгой пересохшую землю.

А Писака – еще свежий, трудами этими еще не иссушенный, не изнуренный. И втайне жалеет его Каталан: с какой охотой, с каким усердием вникает в суть дел Писака. Не догадывается,

какой ад придется в грудь принять да так и жить с этим адом до самого смертного часа.

***

И второй голубь взлетел из широких смуглых ладоней Раймона Альфаро, но улетел недалеко, ибо из иной голубятни происходил, нежели первый: посылал весть Раймон Альфаро верному своему человеку, под рукой которого ходило еще несколько десятков верных людей, все отменные воины. Ибо незачем держать все силы на одной Горе; куда лучше, если рассыпаны они по всей Лорагэ и готовы воспрять по первому зову, свежие, полные сил, не уставшие после долгой дороги.

А первая птица уже на полпути к Горе…

***

До Вознесения оставались ночь, день и еще одна ночь.

Всего-то день прожит в разлуке с Тулузой, а Фома уже томится по своему монастырю. Робен молчит и не ропщет, делает, что велят, а в остальное время бродит по роще невдалеке от Авиньонета, либо спит. Писака с Каталаном книги разбирают, имена заучивают. Лезата обдумывает проповедь – ему поручено объявить на торжественной мессе по случаю праздника об открытии в Авиньонете постоянного трибунала инквизиции.

Мучается архидиакон Лезата. Какие слова найти, чтобы проникли в души, прожгли их, заставили людей устыдиться и покаяться?

И сказал опечаленный Лезата:

– Да простит мне Господь, брат Фома, но я близок к отчаянию. Какое бы слово ни взял, всякое кажется мне жалким.

И ответил ему Фома:

– Дивлюсь тебе, Лезата. Слово – это Бог, а ты дерзаешь называть его "жалким".

***

И ожила Гора. Издали посмотреть – разверзлось таинственное чрево земли; а если быть одним из тех, кого она исторгла, то и чуда никакого не заподозришь: влетел голубь в руки хозяина, трепеща крылами и надувая перья на нежном горле, и услышали

на Горе братья далекий зов Раймона Альфаро: "Беда у меня!"

Взяли коней и помчались по долине – славные рыцари, добрые катары, но не "совершенные", а верные; верным же, в отличие от "совершенных", дозволялось и вкушать мясо, и наслаждаться женщиной, и проливать кровь.

***

Ночь на Вознесение была теплой и звездной. Тихо фыркали лошади, шевелилась над головою черная листва, а в груди сжималось и летело неугомонное сердце.

И сказал Альфаро своим всадникам – а набралось их чуть менее сотни, считая и тех рыцарей, что извергла Гора:

– Пора!

Вышли из рощи и двинулись к Авиньонету – шагом, а хотелось бы – во весь опор. Вот и город; церковный крест на вершине холма выделяется на небе, будто хочет перечеркнуть звезды.

Ворота в эту ночь держали открытыми. Спросили только:

– Кто идет?

– Альфаро! – отозвался один из рыцарей, что примчался на зов из Монсегюра.

А другой в один голос с ним крикнул:

– Раймон!

Назвал с юности любимое имя – будто весь Авиньонет обласкал.

Внук же Раймона Тулузского промолчал.

Вошли в город, рассыпались по улицам. По знаку Альфаро, десяток воинов спешились и побежали следом за ним к резиденции – благо недалеко от стены она стояла. Не на битву шли, на бойню, и потому только легкие кольчуги надели. Легко бежалось.

Легко и в дом проникли – всего-то дверь пнули; незаперта оказалась. Хоть и дал Раймон Альфаро инквизиторам стражу, но позаботился и здесь верных себе людей поставить.

В доме темно; да только кто, как не Альфаро, свой собственный дом знает! Ворвался первым в ту комнату, где монахи спали, и не глядя кому-то из них первый удар нанес – не мечом, древком короткого копья. Ощутил только, как живое под ударом содрогнулось.

Кто-то крикнул не таясь:

– Света!

На другом конце комнаты вдруг вспыхнул факел.

Святые отцы повскакивали – на полу спали, вповалку, как бродяги; и приор с ними оказался – задержался, должно быть, за разговорами. Что приор здесь – то худо; но рассуждать уже некогда. Время стронулось с места и бешено помчалось вскачь.

Альфаро ногой перевернул на спину того, кто подвернулся под древко; оказалось – сам Каталан. Вся левая половина лица у инквизитора кровью залита, и так-то некрасив был, а теперь совсем уродом сделался.

– Бейте их! – закричал Раймон Альфаро сам не свой, видя, что прочие мешкают. В свете огня был Альфаро нечеловечески красив, точно одет вдохновением смерти.

Приор заметался – понял; к окну бросился – а за окном голоса и факелы; к двери кинулся – но на лестнице стучат сапоги. И робкий Робен, видя, как тянется к приору рука с ножом, закрыл его собой. Робена щадить не стали – на колени повергли и, за волосы взяв, перерезали ему горло.

Тогда Этьен Сен-Тибери раскинул руки, собирая остальных монахов к себе, и закричал во все горло:

– Te Deum laudamus![3]

И все монахи, кто жив еще оставался, и приор, прибились к Этьену и стали вторить ему:

– Te Dominum confitemur![4]

Сперва вразнобой, неловко голоса их звучали, но как-то очень быстро сладились. Даже Фома, который и вообще петь не умел, ухитрился в тон со всеми попадать.

А у Этьена лицо страшное, глаза распахнуты, волосы разлохмачены.

– Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna coelorum![5]

– Что стоите! – в исступлении крикнул Раймон Альфаро. – Убейте их!

И отобрал у Этьена архидиакона Лезату, а тот, глядя ему в глаза, все пел и пел, покуда нож не полоснул по горлу.

И кричали убийцы на своем страшном, на диком своем языке:

– Va be! Esta be!

Казалось – вечность истребляли монахов и бедного приора, а оказалось – совсем недолго; дозорный едва успел от ворот доскакать и крикнуть , что в городе спокойно.

Тело Робена вышвырнули в окно – услышать, как отзовется ликующим ревом Авиньонет.

Затем бросились искать книги инквизиторов – со списками имен и протоколами допросов. Выпотрошили заодно и кошели, забрали серебряные сосуды, взяли золотую цепь, что была у архидиакона, вырвали библию из серебряного оклада с рубинами

– оклад взяли, книгу бросили. А маленький молитвенник в простом переплете, что хранил при себе Каталан, даже и в руки брать не стали – больно неказист. Да и зачем на Горе латинский молитвенник?

– Пора уходить! – сказали братья Раймону Альфаро.

И кричал Авиньонет:

– Раймон! Раймон!

Альфаро наклонился над убитыми, поводил факелом– разыскивал. Нашел Каталана и взял его голову себе на колени. Каталан был еще жив – пачкая Раймону Альфаро руки скользкой кровью, содрогнулся от чужого прикосновения. Альфаро засмеялся. Раздвинул пальцами Каталану губы, разжал зубы и, ухватив за язык, отмахнул ножом. А после выпрямился, отпихнул тело ногой, и с силой пригвоздил ненавистный язык к дверному косяку.

И с факелом – руки по локоть в крови – выбежал на улицу следом за своими людьми.

Раймону Альфаро подвели коня. Отдал факел – не глядя, кому – сел в седло, крикнул:

– Убийцы мертвы! Живите без страха! Теперь вы будете счастливы!

И в широко раскрытые ворота Авиньонета умчался отряд и с ним Раймон Альфаро – в ночь, по долине, в братские горы, в грудь Горы, к единомышленникам, к братьям – спасать веру, спасать себя, спасать прекрасную страну Лангедок.

***

– Отрезал ему язык? – переспросил Раймона хозяин Горы.

Смеясь, обнимались они, стоя в теснине, на берегу бурливой речки. Заря полыхала на небе во всю ширь – будто руки над горами развела, засветив золотые персты. От Раймона Альфаро потом разит, весь он в засохшей крови, и счастье рвется из его темных глаз.

– Ох, брат! – говорит Раймон Альфаро. – Будь я проклят, если не убил их собственными руками! Все они мертвы.

– А их книги?

– Здесь!

– Много у меня на Горе найдется охотников почитать эти книги! – говорит хозяин Горы. – Но почему ты не привез мне их головы? Я сделал бы из них чаши для доброго вина!

***

А язык Каталана пошевелился на ноже и с трудом выговорил:
– Te… Deum… lau…
И обвис.

***

Такова была смерть Арнаута Каталана; а какой была его жизнь – вы уже знаете.

8 мая – 12 июня 1997

ПРИМЕЧАНИЯ
ПЛОЩАДЬ РАЙМОНА АЛЬФАРО

Авиньонет – маленький городок на Юге Франции, недалеко от Тулузы. Настолько маленький, что там нет даже железнодорожной платформы. Поезд "Тулуза – Каркассон" проходит Авиньонет, не останавливаясь. Поэтому я поехала до соседнего Вильфранша, где путеводитель обещал собор XIV века и крепость, построенную в 1270 году.

Рано утром я была в Вильфранше. Маленький городок просыпался. В церковь зашли две женщины, провели там совсем немного времени и пошли дальше по своим утренним делам. На рынке расставляли лотки, и женщины уже начали ходить с корзинами по хлебным и мясным рядам.

Никому до приезжего в этом городке не было никакого дела. Здесь шла жизнь, повседневная, бытовая.

Я купила запасную фотопленку, а заодно спросила в магазине, где здесь крепость, построенная в 1270 году. Сложность заключалась в том, что я не говорю по-французски. Я говорю по-немецки. Ни о какой крепости в Вильфранше не знали.

Я выпила кофе в кафе и осведомилась там у хозяйки по поводу крепости. Она долго думала, потом привела еще одну женщину. Та немного понимала по-немецки. Нет, никакой крепости тут нет. И шато никакого нет. Есть эглиз, но я там уже была. Красивая эглиз.

Заглянула еще в одно кафе, оно же отель-ресторан. Выпила еще кофе. Спросила о крепости. Да нет в Вильфранше никакой крепости!

Тут лицо служащей отеля-ресторана озарилось радостной улыбкой. Она написала название одного шато на бумажке и протянула мне. Я спросила, далеко ли это от Вильфранша. О нет, совсем рядом – 30 километров… (Она решила, что я на машине).

Я вышла из Вильфранша и пошла пешком по шоссе номер 113 в сторону Авиньонета, поскольку другого выбора у меня не оставалось.

До Авиньонета семь километров. Было довольно прохладно, дул ветер, но дождя, слава Богу, не было. Справа и слева от шоссе тянулись поля, среди колосьев мелькали маки. На горизонте волнились холмы. Я сорвала мак и сунула себе за ухо.

Легко и весело было шагать по ровной дороге от Вильфранша до Авиньонета, мимо полей и загородных вилл, где заходились гавканьем свирепые сторожевые щьены. Я во все горло – благо

никто не слышит – распевала походные песни.

Эй, эй! Я иду пешком по Лангедоку, у меня за ухом мак, я пою, чтобы было веселее. Весь этот мир – мой! Эй, я иду пешком по Лангедоку!

Машины проносились мимо, некоторые сигналили, мне махали руками, я махала в ответ. Мне не хотелось ехать, мне хотелось идти. Мне нравилось идти пешком по Лангедоку – блажной и блаженной, с красным цветком за ухом.

Авиньонет показался издали: маленький серый город, оседлавший вершину холма. Это крошечный городишко, так и не увеличившийся со времен средневековья.

Я прошлась по площади, посмотрела мрачноватый тяжеловатый собор, оглядела зелено-желтые холмы Лангедока, постояла перед памятником франкам-крестоносцам и Жанне д'Арк, а больше здесь делать было нечего. К тому же в фотоаппарате кончилась пленка.

Я стала перематывать ее, и пленку перекосило. Дернула сильнее и оборвала ленту.

Тогда я решила зайти в какой-нибудь ресторан, попросить черной бумаги и перемотать все как надо.

Я зашла в какой-то придорожный паб, совершенно американский на вид. Попросила разрешения посидеть и перемотать пленку. В пабе ничего не поняли, но разрешили.

Я сунула фотоаппарат в сумочку, как в муфту, закутала для верности подолом собственного черного платья в розочках и, расставив ноги на манер лотрековских девиц, принялась возиться в сумочке. Служащие и завсегдатаи паба с любопытством уставились на меня.

Я вспомнила несколько важных французских слов и попросила "папье нуар". Папье нуар не было. Оборванная пленка не лезла в кассету. Я чуть не разревелась.

Тут кто-то еще вошел в паб, и служащая изящно пошутила: "Черной бумаги нет, но теперь есть черный мужчина, если вас это устроит, мадемуазель…"

В паб зашел старый негр в пестрой рубашке и пестрых шортах. Торжественно перездоровался за руку со всеми, перекинулся парой слов со служащими. Потом приблизился ко мне и чрезвычайно учтиво произнес:

– Бонжур, мадемуазель.

Я, подняв голову от голых растопыренных колен, налегая грудью на сумочку и задранную поверх сумочки юбку:

– Бонжур, месье.

Негр сразу сообразил, в чем дело, и принес фольгу.

Когда моя проблема с пленкой была отчасти решена, я с

облегчением вздохнула и попросила стакан красного вина. Служащая неодобрительно хмыкнула: девушка и пьет с утра красное вино!

Негр подсел ко мне и с одобрительным подмигиванием сообщил, что зовут его Гомер (ну как еще могут звать негра!), что он служил прежде в национальной гвардии.

Гомер принадлежал к числу чудаковатых "старых капралов", отставников, которые любят, выпив, бурно общаться с молодыми солдатами и девушками, поучать, отпускать шуточки и, в общем, служить посмешищем.

Потом подъехала машина и выгрузила пять молодых солдат и сержанта. Гомер, извинившись, оставил меня и жадно набросился на солдат. Пока они обедали и курили, Гомер прохаживался перед ними, вызывая снисходительно-добродушные усмешки, паясничал, вещал, словом, развлекался на свой лад.

Наконец Гомер показал мне одного хмурого толстяка из местных жителей (толстяк сидел в глубине паба и неторопливо накачивался пивом). Этот человек собирается сейчас ехать в Тулузу, так он тебя подвезет. Подожди немного, сейчас он закончит обедать и непременно подвезет тебя.

Спустя полчаса толстяк, отдуваясь, вышел из паба и махнул мне рукой. Я встала и под ехидными взглядами солдат пошла за ним к машине. Толстяк без улыбки повез меня на площадь, чтобы я могла полюбоваться видами Авиньонета – я оценила его тактичную, скупую заботу. Затем подвез меня к синему указателю, где было написано "сито де катар", и очень серьезно объяснил, что здесь, на этом самом месте, катары убили зловредного кюре, после чего франки пошли штурмовать Монсегюр.

Завершив рассказ, толстяк повторил его еще несколько раз, убедился в том, что я все поняла (он заставил пересказать услышанное), строго поглядел на меня и полез обратно в машину. И мы поехали обратно, в Тулузу.

Мимо проносились поля, маки, колосья, холмы, виллы со щьенами. Толстяк поведал, что он – архитектор и много лет работал на Мартинике. После этого он поставил кассету с латиноамериканской музыкой. "Гуантанамера" в исполнении Дина Рида и прочее звучало странновато здесь, среди холмов Лангедока.

Мы ехали молча, поскольку толстяк не обладал той неуемной жаждой общения, какой был наделен Гомер, и не умел бойко болтать на незнакомом языке. Когда мы добрались до Тулузы, он подарил мне на прощание эту кассету с латиноамериканской музыкой и все-таки улыбнулся, когда я сказала: "Мучо грасиас".

***

Н.А.Осокин в своем фундаментальном труде "Первая инквизиция и завоевание Лангедока французами" (60-е годы XIX в., Казань) время от времени принимается рассказывать о каком-то Арнальде Каталонском, который плавно перетекает в Вильгельма Арнальди, а затем и в Гильома Арно. "Жизнеописания трубадуров" по этому поводу сообщают, что в Тулузе действительно выкинули из монастыря доминиканца Арнаута Каталана, который некогда – возможно – был трубадуром. Поскольку Осокин этот же эпизод относит к "Вильгельму Арнальди", то я сочла возможным поставить знак равенства между бывшим трубадуром Каталаном и инквизитором Арнальди, зверски убитом в Авиньонете.

О самом трубадуре Каталане известно до изумления мало. Книжка "Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов", выходившая в серии "Всемирная литература" (М., 1974) об Арнауте Каталане сообщает лаконично следующее:

"Арнаут Каталан, первая треть XIII в. О поэте известно только то, что он посещал Прованс – может быть, двор графа Тулузского – и североитальянские города (Ломбардию). Судя по имени, был родом из Каталонии".

Стихотворение "…Как-то раз наедине", посвященное неудачному любовному приключению поэта в Ломбардии, приписывается Каталану и приводится в романе в переводе Валентины Дынник.

Другой источник, вообще не содержащий никаких произведений Каталана, – "Жизнеописания трубадуров" ("Литературные памятники"), М., 1993, приводит отрывки из хроник, описывающие различные злоключения инквизитора Арнаута Каталана в Альби и Тулузе. Комментарий лаконично добавляет: "Возможно, речь идет о бывшем (до принятия монашеского сана) трубадуре, авторе шести дошедших до нас кансон, принадлежащем к известной тулузской семье".

Я предположила, что Арнаут Каталан остался для потомства фигурой темной и вынуждена была, за неимением информации, сочинить свою версию. Она, скорее всего, не соответствует истине, но во всяком случае не является принципиально лживой.

Вообще же почти все эпизоды романа, за исключением нескольких последних, являются вымышленными. Единственный принцип, которого я придерживалась железно – это принцип непротиворечивости. Возможно, события происходили не так и не с этими людьми; но они МОГЛИ происходить так и с этими людьми.

Например, известно, что святой Доминик как-то раз отобрал у палачей осужденного еретика, сняв того чуть ли не с костра. Еретик не только не поблагодарил, он еще долго коснел в ереси и при жизни Доминика так и не раскаялся. Этим человеком явно не был, но МОГ быть Арнаут Каталан. Не знаю, приходил ли к нему Доминик после смерти. Но – мог.

Что касается Саварика де Маллеона, названного в романе Нечестивцем, то я долго колебалась – приписывать ли его все это озорство или не стоит. Действительно существовала пьеса "Ересь попов", игравшаяся при дворах провансальских сеньоров. Саварику же почтенный цистерцианский монах, Петр Сернейский, автор хроники Альбигойской войны, посвятил поистине вдохновенные строки – бранные эпитеты в адрес Саварика де Маллеона, ни разу не повторяясь, занимают почти треть страницы большого формата ("Жизнеописания трубадуров"). Чем-то допек католическое духовенство этот сеньор. Поэтому не думаю, что оклеветала его. В принципе, эн Саварик мне весьма симпатичен.

Судьба Авиньонета после убийства инквизиторов сложилась так: на город был наложен интердикт (запрет на все религиозные обряды). Папа Римский особой буллой (от 10 июня 1243 года) распорядился причислить убитых к лику мучеников. Под интердиктом город прожил очень долго. Когда спустя сорок лет папа в Риме подписывал разрешение, снимая интердикт с Авиньонета, в городе сами собой зазвонили колокола. Предполагаю, что это была церковь Чудотворной Божьей Матери, которая стоит в центре Авиньонета. Это очень старая церковь с красивой восьмигранной колокольней. В церкви имеется довольно помпезная картина в духе академистов, на которой истекающие кровью благообразные инквизиторы-мученики возносятся на небо, где их встречают ангелы.

В Авиньонете находится также памятник крестоносцу – каменный воин с суровым и грубым лицом, который глядит на зеленые и желтые поля Лорагэ с авиньонетского холма.

Отсюда начался последний поход против катаров – на Монсегюр. После расправы с инквизиторами последние защитники независимости Лангедока подняли в стране мятеж. Война шла два года. Спустя два года после гибели Каталана Монсегюр пал.

***

Выписывая даты основных событий, затронутых в романе, я обнаружила, что это преимущественно даты смертей. Предвидя

обвинение в некрофильских наклонностях, сообщаю:

6 августа 1221 года умер святой Доминик (в монастыре св.Николая, в Болонье). Видимо, мне уже не удастся переломить общее убеждение в том, что Доминик де Гусман был первым великим инквизитором. Приведу хотя бы слова Г.К.Честертона ("Вечный человек"): "Святой Франциск и святой Доминик стоят в истории рядом, потому что они делали одно дело; однако мы разделяем их самым странным образом… Доминик для нас – палач, завинчивающий испанский сапог, Франциск – добряк, плачущий над мышеловкой… Назвать ребенка Домиником – почти то же самое, что назвать его Торквемадой… Всякий, кто знает хоть немного о Доминике, знает, что он – миссионер, а не преследователь, что дар его – четки, а не дыба и дело его бессмысленно, если бы он не обращал людей…"

12 июля 1222 года умер старый граф Тулузский – Раймон VI (в Тулузе, недалеко от того места, где сейчас находится музей св.Раймона, в двух шагах от собора Сен-Сернен).

В 1224 году Амори де Монфор ушел из Лангедока, забрав из Каркассона ларец с прахом своего отца графа Симона.

25 декабря 1231 года умер епископ Тулузы Фалькон. Вообще же Фалькон, насколько можно судить по "Жизнеописаниям трубадуров" (если отринуть все недоброжелательные комментарии) был человеком с нестандартным складом ума, не трусливого десятка и глубоко верующим. Его избрали епископом Тулузы после скандала – предшественник Фалькона на этом посту, некий Раймон де Рабенстенс, был лишен кафедры папским декретом. Фалькон, похоже, был довольно близким другом святого Доминика. В обоих наиболее популярных изданиях о трубадурах – "Трубадуры. Миннезингеры. Ваганты" (БВЛ) и "Жизнеописания трубадуров" – год смерти Фалькона указан 1213; что, вероятно, является следствием опечатки, повторенной затем в следующей книге. Смерть в 1213 году, по меньшей мере, помешала бы Фалькону "играть неблаговидную роль" (как сообщается в примечаниях) во время Великой Осады Тулузы (1218). Фалькон был похоронен в часовне аббатства Гран-Сельв недалеко от Тулузы. Могила его исчезла под развалинами.

В конце 1230-х годов скоропостижно умерли один за другим старый граф де Коминж, отец Петрониллы, и ее двоюродный брат, граф Рожьер-Бернар де Фуа.

29 мая 1242 года в Авиньонете были убиты десять или одиннадцать инквизиторов, среди которых – Арнаут Каталан и францисканец Этьен Сен-Тибери.

1 марта 1244 года пал Монсегюр.

27 сентября 1248 года умер Раймон VII, последний граф Тулузский.

***

Отдельно следует заметить, что животрепещущая тема "кто кем кому приходится", оставалась едва ли не самой трудной. Бывают эпохи, буквально битком набитые выдающимися личностями, когда невозможно рассказывать о каком-то одном человеке, не рассказав тут же о десятке других, не менее замечательных. Как, например, восстание декабристов. История трубадурского Юга в этом отношении еще тяжелее. И все эти люди, как на грех, между собой родственники…

Кое-что удалось извлечь из книги D.Paladilhe Simon de Montfort et le drame cathare (1988) и обзорной книжки L.Bely "Les cathares".

***

Русская литературная традиция относится к инквизиции очень плохо, а к катарам – очень хорошо. Ничего доброго в том, чтобы сжигать инакомыслящих, нет. Другое дело, что вместе с водой автоматически выплескивается ребенок.

Главный аргумент в пользу катарского вероучения, муссируемый начиная со времен прекраснодушных демократов эпохи царя Александра Освободителя, – знаменитый запрет на пролитие крови. При этом как-то забывается, что все запреты – для "совершенных". И на полном серьезе порождаются такие вирши о Лангедоке XIII века:

> Боже мой! Сколько сил молодых
> По тюрьмам инквизиции мается,
> Искупая святую вину,
> Сколько лучших надежд разбивается!

Этот стих умилил меня какой-то пролетарской надрывностью, напоминающих песни времен "Юности Максима".

В поисках материалов о катарском вероучении я заказала в Публичной библиотеке книгу с весьма привлекательным названием: "Хроника XIII века о лангедокских еретиках" (Москва, 1898). Поскольку книга заказывалась в сугубо научных залах, то я никак не ожидала – как говаривали современники Фонвизина –

столь сугубого афронта. Заманчивая "Хроника" оказалась бульварным романом пера г-на Рубакина.

Содержание романа таково. Инквизитор Антуан полюбил прекрасную еврейскую девушку. Девушка же отдала свое сердце вольнодумцу трубадуру. Желая завоевать любовь девушки, находчивый инквизитор посадил ее в тюрьму. Не оценив изящного хода со стороны ухажера, девушка взяла да и повесилась. Инквизитор Антуан раскаялся и мгновенно сделался катаром (в романе катары названы вальденсами) и уже в качестве "совершенного" предстал перед трибуналом…

Последняя патетическая сцена изложена по Осокину, слово в слово, за исключением речей Антуана, в которых ощущается сильное влияние Вольтера ("раздавите гадину"). Впрочем, как писали романисты той поры, предоставим слово самому герою:

"В обширной зале доминиканского монастыря собрались инквизиторы и расселись на широкой скамье, за длинным столом. На них были белые сутаны и черные плащи с капюшоном. Вместо поясов они были подвязаны веревкой. Рядом с инквизитором поместился безьерский епископ в парадной одежде, за ним несколько человек священников и наконец десять черных официалов трибунала. На особом кресле помещался секретарь.

Главный инквизитор дал знак ввести подсудимого. Стражники в стальных касках, с алебардами, ввели Антуана.

Это был седой сгорбленный старик, смуглый, обросший волосами, полуодетый, с мрачным решительным взглядом…

Ему прочли обвинение. Антуан обвинялся в ереси и знакомстве с дьяволом.

– Признаешь ли ты себя виновным? – спросили Антуана.

– Не признаю, – мрачно отвечал тот.

Тогда инквизитор, по особой инструкции ad haereticos, начал испытывать подсудимого.

На все его вопросы Антуан отвечал так, что инквизиторы только ужасались и крестились.

Затем у него спросили:

– Нет ли у тебя личных врагов?

– Нет, – отвечал Антуан, – враги мои те, кто враги истины.

– Кто же эти враги?

– Это вы, все вы, с вашим трибуналом, вашими учреждениями, с вашим первосвященником, сидящим в Риме. Враги мои – и ваши рассуждения, то, что вы выдаете за истину, а что на самом деле – ложь, клевета, обман!..

– Ужас, – воскликнул брат Августин.

– Ужас, – поддакнул де Ланси, – но, черт побери, хорошо и сильно сказано!

– Что же мы вам сделали, что вы нас так не любите? – продолжал спрашивать инквизитор.

– Разве не сказано в Писании, – спросил другой монах, – "Возлюби ближнего"? И не кротким ли обещано царство небесное?

– Вы слуги дьявола! Вы губите то лучшее, светлое, что Господь Бог дал людям! Сколько крови вы пролили! Сколько жизней загубили! Сколько добра не проявилось в мире по вашей вине!

– Замолчи, замолчи, богохульник! – закричали на него монахи.

– Да знаете ли вы, что все ваши папы с их мрачными идеалами, все могущественные бароны и владельцы не стоят единой жизни, загубленной вами во имя их! Хотя бы за самое святое дело проливалась кровь – она не угодна Богу. Да! – Голос Антуана задрожал, сделался каким-то хриплым. – О, как много нужно страдать, чтобы искупить одну загубленную жизнь! А вы их загубили тысячи!

– Замолчи! Не сквернословь! – закричал на него главный инквизитор. – Зажать ему рот!

Несколько служителей и солдат подбежали к Антуану. Но он сильным движением вырвался из их рук и отскочил в сторону.

– И ваше время пройдет! – закричал он. – Вы будете раздавлены, как гадины. Найдутся люди, которые будут вас искоренять, уничтожать, сделают даже ваше имя ненавистным всем, всем… Слово истины сделает вас ненавистными миру! А! Значит, вы боитесь слабых, если их жжете и гоните!..

– Подсудимый, – обратился к обвиняемому главный инквизитор, – вы сделали такие важные показания, что мы должны допросить вас обстоятельнее!

По знаку доминиканца к Антуану подошли служители инквизиции и стражники и повели его в комнату пыток…"

Оставим даже очевидную нелепость – зачем пытать Антуана, коли он во всем признался и даже более того. Сцена живо напомнила экспозицию Музея истории и атеизма в Казанском соборе, намертво врезавшуюся в память всех, кто имел удовольствие лицезреть ее в детские годы: подземелье с восковыми фигурами скрюченных наподобие Бабы-Яги инквизиторов и перед ними – еретик с широко расправленными плечами.

Что-то во всем этом есть насквозь фальшивое. Противостояние в Лангедоке – не политическое, а религиозное – шло по совершенно иным опорным точкам.

Любопытствующих отсылаю к великолепному и странно не устаревшему труду Козьмы пресвитера "На еретики препрение" (X в.), в русском переводе – в книге "Родник златоструйный. Памятники болгарской литературы IX-XVIII веков". – М., 1990. Там же собраны великое множество апокрифов и "Тайная книга богомилов".

***

Катары в Лангедоке были сильны прежде всего тем, что поставили на службу своему учению патриотическую идею. Католики в этом отношении по сравнению с ними сильно проигрывали.

Трудно представить себе, какой религиозный террор установили бы катары в случае своей победы. Лицемерие и кровожадность были свойственны им ничуть не меньше, чем их противнику. Их поражение в Монсегюре – еще одно их преимущество в глазах потомства. Главная площадь Авиньонета носит имя Раймона Альфаро.

notes

Примечания

1

Погибнет всяк, кто поступит так!

2

Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут! Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное!

3

Тебя Бога хвалим!

4

Тебе Господа исповедуем

5

Ты, одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное.